

На свидание с Полиной я опаздывал уже на полчаса, но свою мощную “пятёрку” БМВ не гнал, ехал в потоке за стареньким автобусом. А мобильный телефон настроил “вне зоны доступа”. Я не собирался досадить Полине, которая сейчас ждала меня к обеду, — готовила она, кстати, мастерски, — но хотел дать понять, что наш роман заканчивается, что встречаемся с ней в последний, ну, может, не в последний, но последние разы; необязательность, опоздания, отсутствие цветов и подарков в руках — это знаки той самой близкой разлуки, которую я наметил на нынешнюю весну.

Хотелось бы порвать разом — сегодня же! — в тёплый апрельский день, как раз перед отпуском, который я не собирался проводить с Полиной, но по опыту я знал: не со всеми — ох! не со всеми! — женщинами можно порвать враз, в один день, иногда лучше, менее болезненно затянуть бодягу на несколько недель-месяцев, чтобы постепенно рассосалось...

Я и женщинам, с которыми встречался, объяснял, даже учил их: нельзя, не резон бросать мужчину резко, в одночасье уходить от мужа, или со-

* Журнальный вариант.

жители, или любовника. Конечно, не всякий мужчина, но большинство очень привязываются к женщине и страдают смертельно, потеряв спутницу, а если ещё она ушла в открытую к другому, впадают в безумство ревности, в пьянство, деградируют. “Если ты, голуба, надумала со своим мужиком порвать, — наставлял я своих подруг, потрясывая перед ними указательным пальцем, как перед ученицами, — сделай это плавно, пластично: раз-другой не явись на свидание, опоздай, отъезди куда-нибудь на месяццок, найди сотню причин, чтобы не спать с ним, прикинься больной... И так постепенно создай в мозгах мужчины фундамент, на который он и сам сможет положить стену отчуждения... (Я строитель, поэтому термины “фундамент”, “стена” для меня привычные.) А рубить одним телефонным звонком: “Всё, больше никогда не приходи!” — это не дело, это конфликт, слёзы, ругань, оскорбления...”

От Полины я тоже не хотел слёз, ругани, оскорблений. По большому счёту, мы не так уж плохо провели вместе больше года. Ну, а дальше и глубже, пожалуй, не стоит. “Не она первая, не она последняя”, — шепнул я себе тихо, по секрету. Но тут же обсеёлся, поглядел в зеркало заднего вида. Седина на висках и уже по всей голове. А седина не красит. Может быть, облагораживает, но не красит. Мне уже сорок пять. Эта дата казалась рубежной, коварной. За ней начинается старость. Сперва прямым к полтиннику, а там — к пенсии. И... финиш. Дембель.

Не так давно я пришёл в кассу покупать билет на самолёт, кассирша предупредила: паспорт срочно меняйте, скоро недействителен будет. А в паспортном столе обыкновенно-недовольная тётка в окошке с обыденным цинизмом сказала:

— Надо сфотографироваться. Выдадим последний паспорт.

— Почему последний?

— После сорока пяти... последний.

Этот “последний” паспорт слегка перевернул мир. Жизнь будто покати-лась вниз. “Последний”... Значит, всё последнее. А у меня к старости нет семьи, нет любимой женщины. “А Полина? — словно бы дразня себя, спросил я. — Полина уже не считается”.

Город наш Гурьянск — провинциальный, большой районный центр, жителей до сотни тысяч, но все друг друга знают и всё про всех знают. Полина овдовела года три назад. Мне она рассказывала, что её муж в последнее время часто болел, но продолжал употреблять горькую. Умер в постели “после запоя”. Другие “добрые” люди донесли мне подробности смерти Полининого мужа: со слов её “лучшей” подруги, которая была у неё в тот день в гостях, муж якобы просил Полину сходить в магазин и купить ему “чекушку”. Она не пошла. По телевизору шёл новый сериал, который она не хотела пропускать. Так и умер её суженый, не дождавшись похмельного стакана. Возможно, жил бы, если бы не телесериал... Сколько правды было в этой истории, я определить не возьмусь, но то, что Полина ради дурацких сериалов готова плюнуть на всё, — это на неё очень похоже. А если я так же, как её горемыка муж, буду лежать в постели и просить рюмку коньяку, а по телевизору пойдёт сериал, её любимый, а у неё каждый второй — любимый, что будет тогда? Из-за каких-то дурёх в телящике оставить без участия родного человека — что-то тут в женщине есть леденящее, бесчувственное. Мне теперь хотелось именно это подмечать в Полине...

Слева на большой скорости меня и весь поток автомобилей обогнал по встречке жёлтый раздрыганный “жигулёнок” с затемнёнными стёклами. Пробки, цепи машин, движущихся черепашным шагом, и для нашего Гурьянска стали обыденными. То ли я, то ли мой стальной конь не выдержали и помчались вслед за “жигулёнком”, чтобы обойти затор. Я ехал близко к “жигулёнку”, прикидывал, куда можно будет пристроиться, если на встречке появится лобовая машина. Кто сидит в “жигулёнке” за рулём, не было видно за тёмными стеклами, но, видать, кто-то отчаянный. Сейчас на таких развалюхах ездят бомбилы, шабашат таксистами какие-нибудь молдаване, узбеки... Вскоре я обошёл и попутный поток, и обогнал “жигулёнок” — косо глянул на остающуюся по борту машину. И вдруг увидел за рулём сына.

— Э! Э-э! Толик! Стой! — замаха́л я руко́й, слегка прижима́я “жигуле́нок” к обочи́не. — Стой! Стой, тебе́ говорят!

Я выскочил из машины, подбежал к “жигуле́нку”, рванул дверь:

— Откуда у тебя́ эта рухлядь? У тебя́ же нет прав?! Куда ты гони́шь?!

Толик смотре́л на меня́ непонима́ющими взглядо́м, словно́ не узнава́л меня́. Сейча́с он мне показа́лся каки́м-то неаде́кватным, “сам в себе”.

— Чья́ это маши́на? — допы́тыва́лся я.

— Так... — на́конец увертли́во загово́рил сын. — Взя́л поката́ться... Так, это́ прия́теля... Ма́кса. Ни́чего, па́п. Гаи́шников нет. А мне во́ждению учи́ться на́до...

— Где́ твой Ма́кс? Куда́ достави́ть маши́ну?

— Да я сам́ дое́ду. Че́го ты? Тут́ рядом... Не бойся́ ты за́ меня... — Он почему́-то расме́ялся.

— Выла́зь! Доста́влю́ эту́ рухлядь́ твоему́ Ма́ксу. А ты́ больше́ не сме́й!

Толик усту́пил мне во́дительно́е ме́сто, перебра́лся на па́ссажи́рское, пререка́ясь со мно́й не ста́л, почу́ствовал мою́ взбе́шенно́сть. Всю́ доро́гу, на кото́рую ушло́ четве́рть ча́са, я руга́л сына́, песочи́л:

— Ты получи́ права! Отучи́сь, каќ положе́но, в автошко́ле... Я́ тебя́ уже́ два́жды отво́дил, а ты... Неделе́ю поси́дишь и всё!

— Пра́ва и таќ дела́ют, — вяло́ отве́чал Толик. — По́купают...

— На́ какие́ ши́ши? Я́ тебя́ отма́зал от а́рмии. Я́ тебя́ запи́хнул в инсти́тут. Таќ хоть́ тепе́рь-то ты...

Мы́ приеха́ли на сто́янку, кото́рую указа́л Толик.

— Звони́ своему́ Ма́ксу! При́ мне!

Толик нехот́я доста́л моби́льный телефо́н, и каќ то́лько сказа́л: “Але́! Ма́кс!” — я вы́рвал у него́ тру́бку:

— Ма́кс! С то́бой́ гово́рит о́тец То́лика, Ва́лентин Андре́евич Бу́рков! За́бери́ свою́ маши́ну! Она́ бу́дет на сто́янке у инсти́тута. Больше́ ни́когда́ не дава́й То́лику! У́ него́ нет́ прав!

В отве́т прозвуча́ло что́-то́ вроде́ уди́влённой хмы́кающей усме́шки, по́том брезгли́вое, оше́тинивше́еся:

— Это́ не́ моя́ маши́на, дядя́!

Зате́м послы́шался че́й-то́ сме́х. Вида́ть, по́близости́ от Ма́кса бы́л ещё́ кто́-то, и э́тот кто́-то́ гово́рил с ю́жным акце́нтом.

— Ла́дно, ла́дно, — гово́рил э́тот кто́-то, — пу́скай пе́шком ходи́т...

— Ну, е́сли э́то не́ твоя́ маши́на, ќлючи́ бу́дут у́ меня́! Кто́ вспо́мнит, чья́ э́то маши́на, пу́сть звони́т мне! — сказа́л я и обо́рвал разго́вор с Ма́ксом.

— Да́ че́го ты, па́п? — вме́шался То́лик. — Всё́ норма́льно.

— Я́ куплю́ тебе́ та́чку, хоро́шую! То́лько отучи́сь в автошко́ле, получи́ пра́ва! — вы́крикну́л я сы́ну в ли́цо. — Че́стно получи́!

Толик сто́ял пре́до мно́й пону́рый и, каза́лось, оби́женный, но́ в гла́зах у́ него́ бы́ло что́-то́ чу́жое, он каќ бу́дто на́ время вы́ключался́ из жи́зни, а ко́гда́ вклю́чался́ о́братно, на́парыва́лся на ка́кой-то́ диско́мфорт и опа́сность.

— До́ дома́ дойде́шь пе́шком. Тут́ не́далече́, — сказа́л я при́мири́тельно.

— А́ каќ ты́ до́ своей́ маши́ны́ до́берё́шься?

— До́беру́сь ка́к-нибу́дь...

— Па́п, ве́рни ќлючи. Мне́ на́до. По́зарез. Я́ тебя́ подвезу́ и отда́м маши́ну. Пра́вда... Ни́кто́ тут́ меня́ не́ остано́вит, — ста́л бы́ло ка́пю́чить То́лик.

— Не́т! — отреза́л я.

2

Э́то бы́ло не́сколько́ ле́т наза́д. Ещё́ бы́ла жи́ва ма́ть, и я́ е́хал ќ ней́ в ро́дной по́се́лок. Ле́том тра́сса по́чти́ пу́стая — две́ по́лосы́, разде́лённых прерыви́стой ли́нией. Нормальна́я, не́ скользкая́, не́ ши́бок битая́. Впе́реди по́ворот. Прерыви́стая́ пере́шла в спи́шную. Я́ то́лько подума́л, ве́рнее, успе́л подума́ть, что́ на́до бы́ сброси́ть ско́рость, но́ но́га по́-пре́жнему́ да́вила на́ газ. Впи́шусь, тра́сса́ су́хая, и за́тормози́ть все́гда́ успею́ пе́ред по́путной маши́ной. Но́ по́путной́ не́ бы́ло, а на́ встре́чку вы́летел бо́ртовой “Ка́мАЗ”. Он не́ впи́сыва́лся в по́ворот, а возмо́жно, и не́ хоте́л впи́сыва́ться, не́ ви́дя

моей машины за зарослями деревьев. Он увидел меня уже поздно, и уйти вправо для него не было шансов. Когда завизжали тормоза “КамАЗа”, когда завизжали тормоза моей машины, летевшей лоб в лоб тяжеловесу, который превратит мою машину в лепёшку, вся жизнь промелькнула разом. Нет, не как на киноплёнке, а разом, одним кадром, будто она на одной большой картине, на каком-то полотне, и на нём всё видать: и детство, и школьные годы, и студенческую жизнь, и работу, и быт, и семью, а последней мгновенной мыслью было сожаление: мать-то меня не дожждётся, а она ведь ждёт.

Удара не было. Моя машина, словно бы понимая, что её больше не будет, заупиралась, встала на дыбы, замерла, вцепившись колёсками в диски, а шинами в асфальт. Этот случай запомнился мне навсегда. Даже не угрозой, перед которой я находился, а теми возможностями мозга, когда враз открывается вся твоя жизнь, и кажется она, эта твоя жизнь, изображённая на одном полотне, какой-то нелепой, пустой, сероватой. Ради чего живёшь?!

— Прости, братан! — выкрикнул мне водила “КамАЗа”, косматый худой, остроносый мужик, не желторотый пацан, а по всему видать, опытный водила. — Бес попутал, спешу очень.

Я ему ничего не сказал. Я не мог говорить. Даже обматерить не смог. В горле — сушь.

Ещё раз жизнь моя пролетела одним кадром перед глазами, когда я Толика отмазывал от армии. Пару лет назад в Гурьянск назначили нового военкома, и он стал шерстить призывников. Сказал сыну строго:

— Бурков, пойдёшь служить! Отерочка кончилась... В институт потом поступишь.

Тогда-то и попутал меня бес, не без помощи моей бывшей жены Анны и самого сына. Ведь Толик неглупый парень. Надо дать ему шанс поступить в институт, с первого раза не получилось: не хватило “ЕГЭшных” баллов. Но военкомат этот шанс ему не давал. Анна капала на мозги: “Чего там творится, в этой армии? Ты служил ещё в советской армии... А теперь?” Это *теперь* не разъяснялось, оно вроде бы и так всем было понятно...

— Лев Дмитрич, чего делать? — я позвонил приятно, психиатру.

— Бери бутылку коньяку и приезжай с сыном с утречка ко мне... Врачи из военкомовской медкомиссии рисковать не хотят. Военком-то новый, не обтёрся ещё у нас... Что-нибудь придумаем. Больничку организуем.

История Льва Дмитрича была оригинальна и в то же время незамысловата. Он лечил в своей психушке алкашей, хронов, тех, кто попадал в лапы “белочки” — так на жаргоне называлась “белая горячка”, — и попутно психопатов, шизофреников, невралгических страдалец и страдальцев, лечил честно, насколько хватало ума и таланта, но сам при этом шибко злоупотреблял... Пил всё: спирт, вино, водку, коньяк, если не было изысканных напитков, не брезговал настоящей боярышника и пиона, а закусить любил витаминками, жёлтыми кисловатыми горошками — горстью кидал их в рот.

Крепкий организм доктора долго терпел над собой такие процедуры, но с возрастом стал пробуксовывать, стал Лев Дмитрич впадать в запой, и “белочка”, неумолимая “белочка”, которую он гнал от своих пациентов, стала сама заглядывать к нему в гости. Далеко ходить не надо было: излечивался от белой горячки психиатр здесь же, этажом ниже своего кабинета, лежал в палате с алкашами и выводил сам себя на чистую воду. В последние годы он пил реже, организм не позволял, но отчаянный нрав отменить в докторе было нельзя.

В тот незабываемый день мы пришли к нему с Толиком в кабинет “с утречка”, как договорились. С крупной красноватой лысиной, приплюснутым носом и маленькими глазами, с увесистым подбородком, некачественно обритым, в белом халате с засученными рукавами, Лев Дмитрич больше напоминал банщика, чем доктора. Был он толст и непоседлив; при удовольствии имел привычку шумно потирать руки, а при неудовольствии тихо почёсывал то одну, то другую тыльную часть кисти. На стуле он сидел с непостоянством, часто ёрзал, словно быстро отсиживал ягодицы или что-то там, на седице, покальвало.

— Ну чего, захватили? — воскликнул Лев Дмитрич.

Я с опаской достал из пакета бутылку с коньяком.

— Вот и отличненько! — возликовал психиатр и потёр руки. — Сейчас немножко вмажем и всё обустроим. — Лев Дмитрич закрыл кабинет на ключ.

Он выпил полстакана коньяку, бросил в рот горстку жёлтеньких витаминчиков, вновь радостно потёр руки, оглядел Толика, который сидел на кушетке, бледный, настороженный, и сказал, не мешкая:

— Не бойсь, парень! Сейчас я сделаю тебе укольчик. Сотрясение мозга подстроим — ни одна комиссия не придерётся. Полежишь в больничке, книжки считаешь. — Лев Дмитрич поёрзал на стуле; взгляд маленьких весёлых глаз метался с меня на Толика. — Идите сюда! — Он вскочил, подошёл к окну, мы с сыном за ним. — Запоминайте! Сейчас я всажу укольчик, и вы отсюда быстренько свалите. Действие лекарства начнётся минут через десять. За это время вы дойдёте до автобусной остановки. Вон, видите?

— Видим, — ответил я.

Это была пустынная автобусная остановка под сквозным павильоном. С одной стороны к ней подбирался пустырь, с другой — старенькие двухэтажки. Остановка была безлюдна, маршрутка здесь курсировала изредка, казалось, на неё мало кто надеялся.

— Когда туда доберёшься, ты, — Лев Дмитрич нацелил свой толстый указательный палец на Толика, — упадешь... Валя, не пропусти момент, чтобы он в самом деле не ударился головой... Тебя начнёт тошнить, возможно, что сознание слегка потеряешь, общая слабость... А ты, Валя, тут же вызываешь “скорую”. Говоришь: сын упал головой о бордюр, поскользнулся, его тошнит, сознание потерял. Срочно! Остановка: “4-й квартал”! Чтоб они не плутали. Приедут быстро, дорога сюда свободна...

Мы с Толиком переглянулись. Мы с ним даже мысленно, казалось, переговорили. Может, не затевать это медицинское жульничество, а честно отслужить? Но и под армейскую лямку, а так понял, Толику не хотелось.

— Лучше на моей машине его до больницы довезти.

— Нет, лучше пусть они вас с улицы возьмут. Так будет лучше! Машину пока свою оставь. — Лев Дмитрич потёр свои руки. — Ну чего, ещё пятьдесят грамм — и вперёд...

— Не надо, Лев Дмитрич... Дело нешуточное.

— Ладно, потом вмажем... — Доктор взглянул на Толика. — Сколько ты весишь?

Толик робко произнёс. Лев Дмитрич что-то прикинул, сказал обыденно:

— Штаны спусти... — И вытащил из стеклянного шкафа шприц и ампулу.

Почему? Почему я не остановил ни Толика, ни доктора-прохиндея?! Тысячи раз я задавал себе этот вопрос: ведь драма вершилась на моих глазах, и не с кем-нибудь — с моим сыном! В какой-то момент мне показалось, что Толик сейчас рванёт из кабинета, но этого не произошло. Укол был сделан. А дальше случилось непредвиденное: до остановки с Толиком мы не дотянули. Где-то на полпути Толик вцепился в мой локоть.

— Пап, — прошептал он. — Мне плохо. Всё, не могу больше...

Он полностью обескрасился в лице, закачался, у него подкосились колени, он сильнее вцепился в мою руку, но потом отпустил руку и повалился на землю, на обочину, в весеннюю грязь.

Ещё через минуту его стало тошнить, он стал сучить ногами, извиваться на земле, вернее, в грязи, как в агонии, хватать бессознательно меня за ноги.

Я вытащил телефон, позвонил Льву Дмитричу:

— Лев Дмитрич, он упал, его рвёт, он умрёт сейчас. Чего делать?!

— Делай, как я сказал! Вызывай “скорую”!

Собрав волю, я позвонил в “скорую” и, стараясь не орать, вызвал “неотложку”. Я не помню, не знаю, сколько минут продолжалось это преступление против своего собственного сына, но в эти минуты пролетела вся моя жизнь: от корки до корки. Она прочиталась как бы мной не на первом плане, а на втором. На первом — предо мной лежал Толик, в блевотине, в корчах, в грязи, бледный, казалось, за минуту до предсмертного вздоха. А жизнь

моя опять представилась пустой, глупой и преступной. Даже гадока-мышль посетила меня: “Если сейчас Толик умрёт на твоих глазах, тебя ещё и посадят, за участие в смертном членовредительстве!”

Я снова позвонил в “скорую”. Теперь я уже кричал. И тут, наконец, прибежал Лев Дмитрич. В халате, растрёпанный, дышит, как паровоз.

— Ух ты! — воскликнул он. — Неужели доза велика? Но он же сказал, что семьдесят килограммов весит... Валя, придерживай его на боку, чтобы блевотиной не захлебнулся.

Когда появилась “скорая” с включенными маячками, картина прошедшей жизни стухла. Парня моего спасли. Даже дальнейшее вышло всё, как по нотам. Туфта Льва Дмитрича прошла. Диагноз в травматологической больнице Толику поставили “сотрясение мозга”, и три недели он валялся на больничной койке, может, даже празднуя победу. Набор в армию прошёл; а впоследствии Толик поступил, не без моего участия, в институт. Но с той поры, когда сын валялся в грязи на обочине, я стал сидеть. Сперва виски, потом чёлка, хотя в близкой родне седых не было, стало быть, не наследственное.

3

Меня ждала Полина, я знал, что она ждёт, злится и ждёт, да и на телефоне уже трижды отпечатался её номер. Я опаздывал, но какая-то неодолимая сила повернула мою машину в сторону психбольницы. Скорое я подъехал к неприметному, трёхэтажному зданию за кушачами старых кололей, незабвенному “Психоневрологическому диспансеру № 2”. Мне нужно было сюда, именно сюда минутой — сюда.

На входе остановил охранник.

— Мне повидать Льва Дмитрича, — сказал я, зная охранника в лицо.

— Пусть он закажет для вас пропуск.

— Раньше меня без пропуска пускали. Вы же меня знаете! Я здесь не впервые.

— Знаю. Но теперь без пропуска не пуцду. Указание есть. После присоединения Крыма террористов бояться, провокаций. Правила ужесточили.

Чуть позже, идя по коридору к кабинету Льва Дмитрича, я повторял слово “террористы, террористы”... Откуда они берутся? Шкуры своей не жалко? Взрывали бы тогда только президентов... Чего над простыми людьми изуверствовать. Террористы хреновы! Прежние революционеры, народо-вольцы за царём только охотились, за премьер-министром...

Лев Дмитрич встретил меня оживлённо. Непоседливый, круглый, он пустился по кабинету расхаживать — словно подпрыгивал мяч — и сразу пустился в разговоры об присоединении Крыме, о Донбассе, то потирая от ликования руки, то от какого-то неудовольствия их почёсывая. При этом он будто бы забыл про лохматого пациента-шизофреника в синей пижаме с чёрным воротом, который сидел у него в кабинете на кушетке. Пациент слушал его усердно и глядел во все глаза.

— Потом зайдёшь. Тебе торопиться некуда! Давай, давай уходи, — наконец, сказал Лев Дмитрич больному.

Пациент подозрительно и в то же время как-то усмешливо посмотрел на доктора, сказал, указывая пальцем:

— У тебя волос на губе. Убери, он тебе врать мешает, — и он захохотал.

Лев Дмитрич машинально потянулся к губам, потом тихо выругался, вскричал:

— Пошёл вон!

Пациент с радостным визгом скрылся за дверью, но через несколько секунд заглянул в кабинет:

— А у тебя соринка в глазу, — обратился он ко мне.

— Сгинь! — взвыл Лев Дмитрич. Потом почесал руки, извинительно произнёс: — Он всем так говорит. Контингент, Валя, сам понимаешь... Выпить хочешь? — живо предложил доктор и потёр ладони.

— Хочу, но не могу. За рулём. Я, Лёва, иногда нарочно за руль сажусь, чтобы sobлазна не было... А если честно, выпить хочется часто, почти каждый день. Сдерживаю себя. И не похмеляюсь. Даже с сильного бодуна.

— Это правильно, — поддержал Лев Дмитрич. — Прав был брат Похлёбкин: алкоголиком никогда не станет тот, кто пьёт после трёх пополудни и не позже девяти вечера. Выходит, любая опохмелка исключается... Ты сильный, Валя, человек, а я вот слаб... Поэтому пришлось завязать совсем.

Тут я сказал ему о цели своего появления в психушке:

— Лёва, скажи как врач, как спец, можно ли вылетиться от наркоты?

Дев Дмитрич даже вздрогнул, поёрзал на стуле, спросил:

— Неужели Толик?

— Есть у меня подозрение... Какой-то он не такой. Рассеянный, взгляд блуждает... Я сегодня его застал в чужой машине. Грязная компания у них... Я не думаю, что героин, но... Что такое синтетические наркотики?

— Это суррогат. Для алкашей будто бы брага, которая не устоялась... В армию, Валёк, его надо было отправить, — вдруг сказал Лев Дмитрич и почесал свои руки. — При советской власти система была жёсткая, но верная. Молодой человек не шарахался из стороны в сторону. Ему на выбор: студенчество или армия. И там, и там контроль. Из армии приходит поумневшим, женится, семья, ребёнок и... самый опасный период прошёл. А сейчас у них ветер в головах долго гуляет.

— У меня так и было, — вздохнул я. — Сперва армия, потом институт, женился на третьем курсе... Ну, а дальше ты и сам знаешь. Каюсь я, Лёва, что тогда его от армии отмазал.

— Да, Валя, я ведь и сам-то перепугался до смерти. Думаю, если вскрыется, влепят по ушам...

— А мне каково было? Собственного сына... Я же после этого поседел.

Лев Дмитрич прошёл по кабинету, потёр ладони:

— Приводи Толика ко мне. Как бы нечаянно. Я пойму, насколько он к этому делу пристрастился... Есть такая книжка, называется “Как остановить падающего в рай”. Я тебе дам почитать. Лишь бы Толик на иглу не сел. Сейчас главное — вырвать его из той среды, силой обрубить все связи... Валёк, давай споём нашу любимую! — вдруг призвал Лев Дмитрич.

— Не поётся, Лёва. Извини...

— Но песня же, сам знаешь, всю гадость с души снимает... Ладно, я тебе один спою. Мне тут один алкаш песню напел. Старинную, казачью.

Доктор встал у стола, выпрямился, приободрился, расправил плечи, повел песню:

*За высокий, за курган по степи стелил туман,
А на небе алая заря, заря наступила!
Как по этой, по степи, слышно, движутся полки,
Попереди, ой да, казаков едут командиры.*

Страсть у Льва Дмитрича к пению была с детства, он даже в консерваторию поступал — по молодости. А потом ходил в местный Дом культуры в вокальный кружок, чтоб быть поближе к сцене, пусть хотя бы не профессиональной, но самодельной. Там мы с ним и познакомились: наша строительная бригада ремонтировала Дом культуры. Однажды мы с ним даже спели вместе “Любо, братцы, любо...”

Но теперь он солировал и пел с душой, выкладываясь:

*Зря жанили рано вы мене, парня молодого!
Зря жанили потому, что покинул я жену,
И поехал с вами на войну, с вами, с казаками...*

Когда я уходил по коридору от доктора, в голове вертелась мелодия казачьей песни, но вместо текста были иные слова: “Вырвать из той среды” — вырвать сына. Однажды мне уже приходилось вырывать из среды дочку Риту. Пришлось переводить её в другую школу. У неё истерики начинались

в общении с одной девочкой из класса. В общении они совсем “крышу” теряли. Они могли без конца дурачиться, дикариться, доводили до белого каления учительку... А потом они возненавидели друг друга и стали драться, царапаться, как две кошки, даже тыкали друг друга карандашами... Тогда я перевёл Риту в другую школу, благо возле дома была ещё одна. Вырвал Риту “из среды”. И больше она ни с кем не дралась и не делалась полоумной в общении... Среда важна!

Я вышел из проходной, направился к машине и услышал песню: Лев Дмитрич пел в своём кабинете, голос тонко лился в открытую форточку. Пел он самоупоённо, видать, не стесняясь, что поёт на рабочем месте. А где ещё искренно проявить себя, как не в жёлтом доме!

4

Настроение изменилось. Мне казалось, что такое опоздание на обед к Полине лишь укрепит меня в предстоящем разрыве с ней. Но теперь мне стало Полину жалко, к тому же хотелось есть, отведать её вкусный обед, да и почему-то захотелось её ласки, её тела, её страсти. Мужская натура не менее инстинктивна и привередлива, чем женская. Возможно, мне захотелось и не Полину, а просто женщину, ведь женщин мне хотелось всегда. Всегда, всегда, всегда... Ежедневно, ежечасно, ежеминутно... С юности, со школьной, со студенческой скамьи я гонялся за ними. Нет, не за всеми: дурнушки, грязнули, хамки — прочь, но было много обаяшек, лапочек, лялек... И я щедро оглаживал их взглядом, с воодушевлением прикидывал, как бы вёл себя с той или другой, доведись оказаться в одной постели. Даже когда была любовь к жене Анне, когда была семья, скреплённая двумя детьми, Толиком и Ритой, женщины, чужие женщины, оставались желанны и необходимы.

Почему была такая охочесть до женщин? Я не анализировал; наверное, у всех мужчин — то же самое, а может, было плотское и вместе с тем романтическое заблуждение, что новая возлюбленная будет какой-то особенной, неповторимой, что будет слаще, горячее, жгучее остальных. Да и количество покорённых женщин поднимает авторитет в собственных глазах. Но ничего сверх не происходило: менялись партнёрши, приходило удовлетворение, короткое самолюбование достигнутым; а жизнь, в основном, меняла фасады, а сама суть, смысл, наполняемость жизни оставались неизменными. Навечно единственной женщины не появлялось, покоя и глубокого смысла в жизни — тоже, но и примирения и равнодушия ко всему, что было вокруг, тоже пока не происходило. К счастью. А в последнее время меня мучила мысль: первая любовь была такой сильной, несокрушимой, она всё ещё в моём сердце, и теперь, в предстоящем отпуске, у меня будет возможность проверить это вживую...

По дороге к Полине я договорился сам с собой: бросать Полину сейчас не стоит. Попозже. Ведь под рукой всё равно нет других вариантов. Вариант может скоро и появиться. Ну вот, когда появится зримо, тогда и отвалим в сторону. А пока... А пока на свидание я опаздывал почти на два часа от условленного времени.

Полина открыла мне дверь, и я догадался, что она что-то поняла или узнала большее, чем мне бы хотелось.

— Секса сегодня не будет. Обед тоже отменяется. Кто не успел, тот опоздал, — холодно, без приветствия, сказала она.

В эту минуту я почему-то напомнил себе: как хорошо, что отказался взять ключ от её квартиры. Полина всячески показывала, что доверяет мне и несколько раз предлагала взять её ключ. Но я стоял на своём: “Что мне делать у тебя без тебя?” Вероятно, это было даже больше, чем простое доверие, — это было женское желание создать семью, приручить меня сперва как любовника, а потом как потенциального мужа, чтобы впоследствии делить со мной не только постель, но и что-то общее, семейное и неразрывное.

В то же время я чувствовал, что Полина иногда опасается меня и перепроверяет. Если признаться себе самому без увильваний: я не любил ее; с ней было относительно удобно, комфортно; она была в меру красива, умна,

забывая, но до гробовой доски шагать с ней меня не манило; не такой уж я безнадежный старик в сорок пять. Полина чувствовала мои слабости и, наверное, догадывалась, что я попутчик *не навсегда*, но других-то поискать ещё надо...

— Объяснений не будет никаких! — выкрикнула Полина, эта фраза прозвучала как “Пошёл прочь!”

— Почему? — как можно проще и наивнее произнёс я.

— Какие могут быть объяснения? Не ты ли меня учил: прежде чем задать вопрос человеку, этот самый вопрос задай себе сама! И ответь на него. Потом и другому человеку задавать вопрос не придётся.

— Да... В любом вопросе есть скрытая агрессия, — я пробовал затянуть Полину в разговор. — Человек, которого спрашивают, должен как бы отчитываться, а человеку это всегда неприятно. То, что человек хочет сказать сам, пусть сам и скажет...

Полина нервничала, хваталась то за одно, то за другое, наконец, села на диван и выпалила:

— Ты едешь в отпуск. Едешь без меня. Какие могут быть объяснения! И не важно, откуда я это узнала.

— Это не совсем отпуск, я еду в Одессу по делам. Там у меня армейский друг... У меня есть к нему коммерческое предложение.

Прошлым летом мы с Полиной провели отпуск в Испании — корень обиды был найден. От кого она узнала о моём теперешнем отпуске, я сразу догадался: Полина сдружилась с моей бухгалтершей Аллочкой, та и проболталась, а может быть, и доложила *по-дружески*.

— В ванне — твой халат и шлепанцы, в гардеробе — рубашки, бельё. Забери!

— Ты уверена, что так сейчас надо поступить? — спросил я.

— Нечего мне пудрить мозги, — тихо произнесла Полина. На глаза у неё выступили слёзы.

Я не терпел женских слёз. Они меня обескураживали и раздражали, вызвали какую-то болезненную жалость, но сейчас, мне показалось, что слёзы Полины особенные, осознанные и не для того, чтобы разжалобить меня. И всё же в какой-то момент во мне шевельнулась жалость к Полине — как-никак, больше года делили ложе, и между нами уже была история... и взаимовыручка, мне даже захотелось просить прощения у Полины, уладить, умаслить её, сгладить конфликт, а потом добиться её нежности. Даже подумалось, что в близости она всегда была очень мила. Но все похотливые мотивы оборвала Полина резким оскорблением:

— Сволочь! Я больше года на тебя потратила! — Глаза её заблестели, высохли. Я впервые увидел её такой: злой, свирепой, коварной самкой. Тут она схватила глянецовый журнал, который лежал у неё на диване, и швырнула в меня.

Мне не пришлось уворачиваться. Журнал истерически пролетел мимо меня, расправив крыльями страницы, ударился в стену.

— Я тоже хочу любимого мужчину, а не так... Подёргались да разбежались, — прошипела Полина. И в этом Полинином “я тоже” была глубокая правда. — А ты, ты — сволочь... — искала она, куда ткнуть больнее. — Ты добегаешь! Сдохнешь в одиночестве!

— Я прощаю тебе эти слова. — Надо было уходить, не затягивать сцену и не собирать себе на голову оскорбления. — Вещи заберу потом. Кинь куда-нибудь в кладовку...

“Вперёд!” — это я сказал уже сам себе. Приучил давать себе команды: “Вперёд!”, “Назад!”, “Стоп!”, “Забыли!” В них, казалось мне, есть некая энергетика для того, чтобы ненужное утопить в прошлом навсегда, чтоб не всплыло. Возможно, это был психологический самообман.

Обычно, уходя от Полины, я оборачивался на её окна на третьем этаже. Она непременно стояла у окна, махала мне рукой; это было как-то даже по-семейному, словно она провожала меня в путь-дорогу, а сама оставалась ждать. Она прижималась иногда носом к стеклу, чтобы было смешнее, и что-то рисовала на стекле пальцем. В этом было что-то и романтическое,

и интимное. Светловолосая, раскованная, с нацелованными губами, однажды она показала мне обнажённую грудь, распахнув на себе халат...

Теперь, выйдя из подъезда, я раздумывал: обернуться на окна или нет? "Нет!" Меня оскорбили, выгнали, я и сам отказался от Полины, — чего вертеть носом. Это, конечно, ещё отзовётся болью в сердце, ничто не проходит в жизни бесследно: год с лишним близких отношений — это не пустяк. В то же время мне казалось, что Полина презрительно смотрит на меня сверху и готова швырнуть чем-нибудь, и я шёл словно под прицелом снайперской винтовки... Я поскорее забрался в машину. Всё! Всё, что осталось за спиной, осталось за спиной...

Отъехал, набрал номер телефона бухгалтерши Алочки, я хотел ей крикнуть: "Ты дура! Я тебя уволю!", но в последний момент сказал ей:

— Спасибо за услугу, подруга... В Одессу я всё же еду по делам. А санаторий я выберу поближе к Мацесте, в Сочи. Я думал, ты помнишь о моём радикулите. Сама массаж делала...

5

Мне до жути не хотелось ехать к бывшей жене Анне. Не столько я опасался того, что она не сдержится, зарядит традиционно свои упрёки, тупые укоры. Но надо спасти Толика. Его поведение, его взгляд напугали меня. Надо добраться до истины!

Я позвонил Анне. Не звонил ей около двух лет. Да и она за последние годы звонила только пару раз, по необходимым делам, связанными с нотариусом и армейскими проблемами Толика.

Голос в трубке был и удивлённый, и напуганный.

— Мне нужно приехать к тебе и поговорить, — сказал я.

— О чем? О Рите? — спросила Анна.

— О ней тоже. Но главное — о Толике.

— У меня не прибрано... Может, лучше встретимся где-нибудь в другом месте.

— Нет. Мне нужно посмотреть кое-какие личные вещи Толика. Я буду через полчаса.

Не прибрано, хмыкнул я. Как всегда, не прибрано. А что, разве за полчаса нельзя прибраться в квартире, навести элементарный порядок?! Конечно, если месяцами не наводить этого порядка, то и дня будет мало... Меня всегда бесила небрежность, забывчивость Анны: раскидывать вещи куда попало, забывать выключать свет, начинать что-то шить, вязать, потом бросать начатое на половине, портить деньги на материалы, нитки, покупать массу ненужных вещей, которые годами валялись ненадёванными в шкафах, а потом стонать: этого нет, того нет...

В перестройку нагрянула мода на сословия, многие ударились искать свои родовые корни. Особенно женщины. Видимо, раздирало желание прибиться к какой-то элите. Анна выкопала в нафталиновых сундуках матери — тётки — какие-то документы, разрисовала свою родословную и безмерно гордилась тем, что дальние предки у неё из дворян, из знати. После того, как она обрела дворянство, она даже ходить стала как-то иначе, с гордо поднятой головой, и стала ещё ленивее, что касалось домашних дел. Горы грязной посуды в раковине, бельё не стираю, а сядет средь бардака с чашкой кофе из старинного фаянса рассуждать о дворянских обычаях семьи... Стоп! Стоп! Не надо заводить — всё это уже позади. Уже нахлебался досыта.

Впрочем, я в ту пору и сам заинтересовался своими корнями. О семье матери я многое знал, там ничего не выплыло неожиданного: крестьяне из поколения в поколение. А вот на отцовом древе обнаружили неожиданные родовые ветви. Оказалось, прадед был из-под Екатеринослава, нынешнего Днепрпетровска, войсковой старшина, это целый казачий подполковник, судьба которого оборвалась при невыясненных обстоятельствах где-то в 20-е лихие годы. А дед был морской офицер (я-то думал, он служил матросом, а оказалось, капитан-лейтенантом), который погиб в Великую Отечественную, защищая Одессу; могила его не найдена, вернее, могилой ему стало

Чёрное море... А бабушка пела в каком-то знаменитом хоре. Не случайное мне нравились казачьи песни. В генах что-то, видимо, сбереглось. Поэтому и Льва Дмитрича я любил послушать с его казачьими балладами, да и сам ему подпевал, бывало, под рюмку.

Анна открыла дверь сразу, как будто стояла в прихожей и ждала моего звонка. Я нетвёрдо перешагнул порог. Вот и встретились. Ещё поднимаясь в лифте, я почувствовал, как громко стучит сердце, стук даже отдаётся в висках, и всё это не только потому, что впереди нелёгкий разговор про Толика, но и встреча с Анной, которая явится из семейного прошлого.

Посреди большой комнаты на ковре покоился пылесос — прибраться Анна, конечно, не успела, — зато губы и ресницы подкрашены... И вообще она недурно выглядит. Во мне даже что-то шевельнулось — наподобие полугасшей любви, ведь эту по-своему очень симпатичную женщину я знал немало лет... Она совсем ничего не потеряла во внешности. Почему не выйдет замуж? Не за кого? Достойных, мол, нет, а плохого не надо.

Оказавшись там, где прожил двенадцать лет, я поразился: здесь почти ничего не изменилось, словно я отчалил отсюда вчера. Тот же диван-кровать с обшарпанной спинкой, шкаф со старинными книгами, до которых ни у кого не доходили руки, антикварное высокое кресло с изодранными подлокотниками и круглый столик с инкрустациями на резной толстой ноге; в углу, как и прежде, чёрное австрийское пианино.

Это пианино Анна подарила пятилетней Рите в день рождения, хотя я в ту пору на всём экономил и копил деньги ни машину. Работал где только выпадал случай, на любой халтуре: маляром, плотником, грузчиком. “Машина подождёт. Зато Риточка станет учиться музыке!” — радовалась Анна; она даже не заметила, что я в тот момент побагровел от злости. Я тогда сдержался, стерпел ради дочки, не упрекнул Анну, но этот дорогой “гроб с музыкой” возненавидел. К тому же у Риты не было ни желания учиться, ни особого слуха, и я всячески помогал ей избегать занятий музыкой.

“Надо быть очень ограниченным человеком, чтобы не понимать, как важна для ребёнка музыка!” — негодовала иногда Анна, но я был неумолим: “К чёрту эту музыку! Пусть Рита побольше гуляет, а не чахнет над клавишами. Как пианистка она всё равно никуда не пробьётся!” “У тебя на уме только деньги... Ты не понимаешь, что музыка — это полёт души...” Так завязывалась очередная ссора, которая доходила до криков и оскорблений, после чего мы неделю могли не разговаривать друг с другом, и никто первым не хотел пробить стену отчуждения... А Рита толком играть на пианино так и не выучилась, кое-как дотянула музыкальную школу. Но потом стала актрисой. Правда, это уже иная история.

— Она сообщила тебе, что выходит замуж? — спросила Анна.

— Кто?

— Рита, разумеется! Вот почитай. По скайпу я с ней связаться не могла, — Анна протянула мне конверт. Сама села в кресло.

Я взялся читать.

— Да садись ты, Валя, куда-нибудь. Ты ж не чужой... — сказала Анна.

Я устроился на край дивана. Письмо от Риты было следующим:

“Мамочка, милая моя!

Решено. Я выхожу замуж! Свадьба — потом. Так что не переживай. А пока я выхожу замуж и уезжаю в Польшу. Он режиссёр, он ставит там пьесу в Познани... Он гениальный режиссёр! Ты, конечно, не слышала, но это гений! Стас Резонтов. Я сразу слышу твой вопрос: старше ли он меня? Ну, конечно, старше. Ему сорок семь. Но это не имеет никакого значения. Он очень искренний, очень талантливый, очень-очень... А свадьба, родственники, гости, фата и прочий реквизит — это потом. Это не главное!”

В этом месте письма я сглотнул слюну, перекинул взгляд в угол, где горкой валялась одежда. Подсчитал. Рите недавно исполнилось 23, в прошлом году она закончила ГИТИС, а этому гению — 47, итого разница в 24 годика... Стал читать дальше. Письмо было коротким. До конца я добрался быстро. Ни просьб о соизволении матери на брак, ни упоминаний обо мне в письме не нашлось.

— Скоро я буду в Москве. Вот и поглядим на этого женишка.

— Разве это что-то изменит? — чуть скривила губы Анна.

— Ничего не изменит. Рита, похоже, больна любовью... Но с режиссёром надо поговорить. Думаю, когда мужчине за сорок, у него уже есть кое-что в голове.

— Все мужчины думают только одним местом. И место это — ниже пупка, — с язвительной ухмылкой сказала Анна.

— Для дворянки это неприлично, — заметил я.

— Зато честно, — быстро ответила Анна. — Ты подсчитывал, сколько раз ты мне изменял, пока...

После стольких лет изматывающей ревностью и глупостью супружеской жизни слушать теперешние претензии Анны было невмочь. Она так и не успокоилась, она всё как будто считает себя моей женой и предъявляет претензии.

— Достаточно! — резко оборвал её я. — Есть более важное, чем эти глупые упрёки! Я ими уже накушался... Где личные вещи Толика? Надо всё пересмотреть.

Мы пришли в маленькую комнату — обитель сына. Здесь тоже мало что изменилось. Разве что появились плакатные портреты каких-то глянцевого девиц и навороченных машин. Я полез в ящик его письменного стола.

— Мне кажется, ты не там ищешь, — подсказала Анна, хотя что я искал, она не знала. Да я и сам ещё не знал; мне очень не хотелось это что-то найти. — У него под шкафом есть секретная коробка. Я нечаянно туда заглянула. Катушка ниток закатилась... Полезла в эту коробку, а там...

Прежде чем встать на колени пред шкафом, я спросил:

— И что там интересного?

— А ты, Валя, не знаешь? — брыкнулась Анна. — Ну, порно там. Журнальчики.

— Он взрослый мужчина. В этом нет ничего удивительного... Да, это подходящее место, — тихо сказал я, обшаривая рукой пространство под шкафом.

В схроне Толика лежали несколько журналов с фотографиями секс-моделей, какие-то чистые бланки с печатями, ксерокопии документов на машину, визитные карточки, рекламки и, наконец, — вот они! Я взял в руки небольшой пластиковый пакет, в котором набралась бы горсть таблеток белого цвета.

— Что это? — вспыхнула Анна.

— Вот и я хочу узнать, что это?

— Может, в полицию сообщить?

Анна всегда была паникёршей, и в неожиданных ситуациях тут же предлагала разные, порой нелепые выходы.

— Попробуем пока без полиции, — ответил я, хотя уже наметил, к кому из полицейских приятелей смогу обратиться.

— Неужели это наркотики? — шёпотом спросила Анна, глаза её тут же наполнились слезами, и мне даже показалось, что она потянулась ко мне, — так часто бывало, когда на семью обрушивалась какая-то беда, пусть даже и невеликая.

— Плакать не надо. Пока ничего страшного не произошло, — успокоил я Анну и погладил её по плечу.

— Валя, что же будет-то? За такие таблетки Толику светит тюрьма! — она стояла ошеломлённая.

— Расскажи мне подробно. Всё, что с ним было в последние месяцы? Кто ему звонил, кто приходил? Когда он приходил? Что у него был за взгляд? Просил ли есть ночью?

— Откуда я помню? Приходил он поздно. Я уже спала...

Мне вспомнился один разговор, я был не участником, а свидетелем этого диалога: директор училища, где моя контора делала ремонт, объяснял что-то матери одного из подопечных, вероятно, балбеса-хулигана, которых в ПТУ всегда хватало. Мать сетовала:

— Ну, хоть вы мне подскажите, товарищ директор, что с сыном делать-то? Мужа у меня нету, прикрикнуть на него, приструнить по-мужски некому. Придёт сын в ночь-полночь, что я сделаю? Правду не скажет... А до тюрьмы-то — шаг шагнуть”.

— Ждать надо... — вздохнул директор. — Мать должна ждать своё чадо! Пусть идёт он домой хоть в два ночи, а окно в доме должно светиться. Там сидит его мать, она ждёт его! И всякий раз он будет знать, что мать не спит, встретит его... Когда-то и устыдитесь... Лишний раз не свяжется с кем-то... Горящее материно окно спасло много оболтусов! Девчонок — в особенности. Пусть окно ваше горит... Пересилить надо этот период”.

Я вспомнил о горящем материном окне, хотел было об этом Анне, но прикусил язык. Она, скорее всего, озлится, начнёт упрекать: вот бы и воспитывал сына сам, если такой умный, а не шатался по бабам и не ломал семью... Но, видит Бог, я не хотел разбивать семью: были какие-то бабы, но ради семьи, ради двух детей я не ушёл бы от Анны к самой что ни на есть красавице-раскрасавице. Да и ушёл-то я от неё “в одиночество”, а не к женщине... Всё старался заработать больше, бегал по шабашкам, чтоб жена, дети были одеты в дублёнки, чтоб летом к морю могли съездить, а скандалы ревности не прекращались, денег всё время не хватало, и, в конце концов, хлопок дверью, съёмная комната, и всё сначала, с нуля. Так распорядилась судьба. И неизвестно, как распорядится дальше.

— Ты пока приглядишься к нему, — сказал я, забирая таблетки с собой. — Что это за гадость — я узнаю. Если Толик будет спрашивать, где они, не ври. Скажи, что я приходил и забрал.

— Не было печали... — слёзно вздохнула Анна.

Мне захотелось поскорее уйти. Ни сострадания, ни осуждения Анны мне испытывать не хотелось. Нечего бередить душу, никакой прежней морочки! Пора!

— Ты никому ни слова... Никому! — кивнул я на прощание Анне.

Я вышел из дома, когда-то родного дома, с решительным настроением: за сына буду бороться! Риту тоже так запросто в лапы какого-то режиссёра не отдам!

Во дворе у подъезда на лавках сидели четыре старухи. Вот неожиданная встреча! Все они меня знали, наверняка помнили, кому я бывший муж, заздоровались наперебой. Я их считал старухами ещё и потому, что все они были вдовами, но они, по-видимому, старухами себя не считали, ещё всю молодились, и теперь, по весне, даже расцвели. Подкрашенные, подзавитые, никаких седин в волосах не видать, духами пахнут; они, видно, ещё на что-то надеялись, а может, просто гнали от себя gioia.

— Здравьете, здравьете, барышни! — с доброжелательной насмешкою сказал я, оглядев бывших соседок. — Что, милушки, выбрались на завалинку перемыть кому-нибудь кости?

— И это надо...

— Мы и есть общественное мнение! — весело, безобидчиво откликнулась старая соседка.

— Что, не даёт вам покоя министр Сердюков со своей толстозадой воровкой? А вот скажите-ка, бабоньки, — хитроглаголо повёл я, — где ваши-то мужики, мужа по ты бишь?

— Дак ведь умерли они, Валентин. Али забыл?

— Царствие Небесное!

— Ты ж их всех знал, мужей наших!

И то верно: всех мужей этих старух я знал. Один был бывший военный, майор танковых войск; другой — автослесарь, “золотые руки”, не раз заглядывал под капот моих первых “жигулей”; третий — пьющий интеллигент, корреспондент из местной газеты, а четвёртый — тренер по боксу, сам бывший боксёр.

— Кто ж им помог помереть-то до срока? А, бабоньки? Кто им кровь портил скандалами, похмелиться не давал, уход вёл плохой, об их отдыхе и здоровье не заботился? А? — иронично и в то же время на полном серьёзе

вопросал я. Старушки взволнованно насторожились. — Изъездили вы, красавицы, своих мужиков раньше срока. А теперь сидите, как курицы на насесте, вкоччете... Белый костюм негра Обамы обсуждаете...

Ропот возмущения прокатился меж старух, но я этот ропот слушать не стал, выкрикнул со злой весёлостью:

— Эх, бабки! Беречь надо своих мужиков ещё при жизни! Детям своим, дочерям-внучкам накажите, чтоб мужиков своих берегли!

Я старую пошёл к своей машине. Ох, и пополощут меня старые бабы за такие слова! Всё мне припомят: и мою расколочую семейную жизнь, и свою любовь к мужикам своим, которые, конечно, не в меру выпивали, о здоровье своём не заботились, по молодости были гулёнами, и сами виноваты в том, что рано отволокли их на кладбище...

6

Это произошло так неожиданно, непредсказуемо и, казалось, совсем без повода. У меня и не было никаких болезненных симптомов до этого часа. Когда начался приступ, я сидел у себя в кабинете; работал тогда в одном строительном тресте мелким начальничком. Боль, вступившая ко мне в правый бок, стала постепенно парализовывать, сковывать движения, и в некоторые моменты словно игольчатым камнем шевелилась. Тогда я покрывался потом, и хотелось стонать. Я ошарашенно думал: “Что же это такое?” Но ничего не выдумал, кроме аппендицита. Вызвал секретаршу Елену, она была на то время и моей близкой подругой. Проговорил полупешотом:

— Ленка, мне очень хреново. Вызови “скорую”. Резкая боль в правом боку. Наверно, аппендицит.

Елена всплеснула руками:

— Валентин Андреевич, какой вы бледный стали...

— “Скорую” вызови! — перемагая боль, прикрикнул я на секретаршу.

Неотложка долго не ехала. Что это было за время?! Девяностые!.. А я уже валялся на диванчике у себя в кабинете, согнувшись, прижав колени к груди, и еле сдерживался, чтобы не заорать от наплывов боли.

Очкастая, сухая, нервная врачиха — от неё ещё гадко пахло табаком, — прибывшая со “скорой”, взглянула на меня, как на преступника, резко попросила показать язык, затем надавила на живот, и я взвыл от умопомрачительной боли. Потом она отвернулась от меня, что-то стала писать в какой-то бумаге, спросила мимоходом:

— До машины сами дойдёте? Или носилки?

— Что со мной?

— В больнице диагноз поставят. Думаю, почки...

— Но у меня ж никогда не было...

— Всё когда-то начинается, — философски сказала докторша, хмыкнула и прибавила: — И заканчивается...

В своих циничных проявлениях она мне даже чем-то импонировала. Не сюсюкает. Сразу в больницу. Без всяких глупых расспросов. Что ели? Как спали? В стационар — и всего делов!

С помощью приятеля из конторы и секретарши я доковылял до “скорой” — раздолбанного “узика-буханки”; подумал попутно: хорошо, что у “скорой помощи” бензин есть, чтобы довезти меня до стационара. Елена напрашивалась со мной. Но я сказал: “Нет”. В машине я не кричал, но когда добрался до кушетки приёмного отделения, начал стонать. В этом узком кабинете приёмного отделения я был один, стесняться было некого, но если б здесь было хоть сто человек, хоть сто женщин, я всё равно бы стонал. А позже я и вовсе не выдержал — стал кричать от боли...

Я сам себе не верил: разве такое возможно, что я буду орать в истерике и извиваться на кушетке. Но никто не приходил: ни дежурный врач, ни медсестра, и тут опять сквозь боль пролетела мысль: что ж мы натворили, если так опустили медицину? Я орал. Но всем, похоже, на всё было наплевать. Ох, уж эти девяностые! А правильнее сказать — ельцинские годы!

(цифра “90”, да и век двадцатый ни при чем, ведь во все времена правят люди, иногда тупицы и негодяи).

Наконец, пришёл врач. Немолодой, лысый, красный весь, на лысине — капли пота, мне даже показалось, что он “под мухой”; правда, от него не пахло...

— Ты чё так орешь-то? — безобидно прикрикнул он на меня.

— Больно... — прошептал я.

— Не мог раньше, — оправдался врач, подсел ко мне на кушетку: — Ну-ка, ну-ка, ну-ка, покажись, — заговорил он и стал ощупывать мой живот.

— Что со мной? — нашёл я в себе силы спросить спокойно.

— Обыкновенная почечная колика. Сейчас сделаем укол... Полежи ещё.

— Только недолго...

— Да, да, да... — врач быстро исчез, так же, как появился.

Я снова остался на кушетке со своей болью. Я молча терпел её не больше минуты, а дальше — опять стон и сплошной ор.

Пришедшая медсестра, хваткая пожилая бабёнка в крупных очках, с наполненным шприцем в руке, тоже церемонилась со мной недолго:

— Чего кричать-то? Надо потерпеть... Пьёте, пьёте... Почки не железные. С доктором вам повезло. Добрый. Последнюю ампулу вам отдал. Лучшее лекарство...

— Что за лекарство? — сквозь зубы пробормотал я.

— Анальгетик. Наркотик, по правде-то сказать. Боль как рукой снимет... А почечная колика — такая зараза. Никто никогда не знает, где это начнется. Может, камушек с места стронулся и пошёл гулять... Лежи. Отойдёт. — Медсестра, так же деловито, как доктор, ушла от меня.

Снова я остался один. Но уже в другом состоянии. Незаметно для себя я перестал стонать, подстанывать, тяжело вздыхать. Затем незаметно отступила боль. Она отступила не разом, а постепенно. Сперва я перестал думать о боли, хотя и живот, и спина превратились у меня за время приступа в единый неповоротливый тяжёлый камень. Но теперь этот камень не давил, не приносил страданий. Я лежал с закрытыми глазами, и перед моим внутренним взором творилось что-то невообразимое. Будто в тёмном ночном небе необыкновенного сиреневого цвета вспыхивали, неярко и нерезко, разные звёзды; они мягко играли радужными цветами, перемигивались, мерцали; они окончательно приносили обезболивающее избавление, они уносили меня от мира здешнего в мир бесчувственный, разноцветный и сказочный. С каждой минутой мне делалось всё лучше. Ничего подобного прежде я не испытывал. И дело было не в красоте звёзд, потом эти звёзды и вовсе исчезли, а перед глазами было что-то светлое — словно ранняя зорька на дальнем горизонте. Но видимые образы были сопутствующими, главное — внутри нарастало насыщение радостью, как будто всю мою плоть, все клетки моего организма наполнились здоровой силой, способной поднять меня не только с кушетки, но и с земли — в небо. Хотелось смеяться! А ведь прошло всего несколько минут после того, как я безбожно орал от боли.

И тут, как бывало со мной, в эти минуты и мгновения опять пролетела в моём сознании, цельной, многокрасочной картиной моя жизнь. Но сейчас ярких счастливых красок в ней было много больше, чем когда-то прежде. Я слышал и ласковый голос матери, я чувствовал морозный запах ели, которую мы спиливали с отцом на новогодний праздник, я безудержно был влюблён в одноклассницу Ладу, и эта любовь простиралась на внезапном полотне жизни неким восходом солнца, а по коже бежали мурашки от счастья...

Из тихих ласковых галлюцинаций меня вывел голос врача, а потом голос жены Анны.

— Утих, уснул, значит всё нормально. Приступ прошёл.

— И что теперь делать? — спросила Анна.

— Обследоваться, лечиться... Да, да, да... Тут куда не денешься.

Я слышал разговор вполуха и сквозь ресницы смотрел на врача и жену; мне не хотелось открывать глаза шире. Но внутренний толчок встрепнул меня:

— Куда меня сейчас, в палату? — спросил я доктора.

— Нет, нет, нет, — живо откликнулся доктор. — Можно обойтись и без стационара. Амбулаторно.

Я с улыбкой смотрел на Анну, взял её протянутую руку.

— Выходит, ничего страшного? — спросил я.

— Бывает и хуже.

В этот момент в приёмный покой вошёл высокий решительный человек, тоже в белом халате; по всему виду, врач рангом повыше, чем мой лысый лекарь-избавитель. Это был главврач.

— Ах, вот вы какой, голубчик! Мне весь телефон оборвали... — с некоторой издевкой заговорил главврач и подозрительно посмотрел на Анну: — А вы кто?

— Жена, — ответила она и вдруг почему расплакалась, слёзно спросила: — Скажите честно, что с ним, доктор?

Но главный врач на её вопрос не ответил, зато уточнил:

— Значит, вы жена?

— Да.

— А кто вам сообщил о приступе вашего мужа и где он находится?

— Его секретарша.

Главный кивнул, сказал уверенно Анне:

— Не беспокойтесь! С вашим мужем всё будет хорошо. А пока выйдите, пожалуйста. Мы ещё раз осмотрим вашего мужа... — он почему-то выделит эти слова “вашего мужа”. Как только Анна оказалась за дверью, главврач покачал головой:

— Да-а, голубчик, — он присел на край кушетки. — Мне звонят и звонят. Но я не могу говорить о диагнозе больных чужим людям, а только близким родственникам... У вас ещё две жены, голубчик. Не считая той, которая стояла только что здесь.

Я не понял, куда он клонит:

— Откуда они возьмутся, ещё две?

Главный понизил голос, сказал по секрету:

— Мне сперва позвонила ваша секретарша, представилась, расспросила, где вы и что у вас... Тут всё понятно. Но потом ещё позвонили две женщины, и каждая из них представилась вашей женой. Итого вышло трое, Валентин Андреевич!

— Не может быть! — ошеломлённо сказал я.

— В жизни, голубчик, всё может быть... Причём одна из них звонила откуда-то с улицы, из автомата, был слышен шум машин.

Лысый врач захохотал, а потом сказал иронично и дружески:

— Отправляйтесь домой, многожёнец. Лечитесь амбулаторно. Это всего лишь почечная колика.

— Всего лишь. Я орал так, что весь город, наверное, слышал.

— Бывает.

Главный врач вышел из помещения, было слышно, как он сказал Анне:

— Вы можете забрать своего мужа. Следите за ним. Я имею в виду здоровье...

Если и была в этих словах насмешка, то очень скрытая. Мне даже показалось, что, напротив, доктор говорил очень серьёзно, с назидательностью.

Загадка о трёх жёнах долго терзала меня. Часть этой загадки удалось разгадать. Сотрудница юридической службы Екатерина, когда отмечали 23 февраля, подвыпив, призналась мне:

“Когда вас на “скорой” повезли, я так перепугалась. Грешным делом, подумала: вдруг у человека инфаркт... Позвонила главврачу, сказала: “Я жена! Говорите правду!”

Екатерина всегда мне нравилась. Нет, я не подбивал к ней клинья, но она мне нравилась: ухоженная, улыбчивая, чёткая, всё понимающая. С такими всегда хочется провести время. Но не думал, что я ей до такой степени интересен, что она назовёт себя моей женой... Впоследствии мы с ней провели несколько вечеров вместе (после того, как она назвалась моей женой, я не мог отказаться...) Я так её и называл: “вторая жена”.

А кто была третьей телефонной женой — осталось тайной. Я приглядывался к каждой потенциальной жене в своей строительной конторе, но никого не мог выбрать. Смущала только одна кандидатура. В экономическом отделе работала девушка Оксана. Она была тихой, скромной, неприметной. И, по-моему, очень стеснялась меня. А ещё была ниточка — однажды я услышал вопрос её сослуживицы: “Ты чего, Оксан, из телефона-автомата звонишь? Разве у вас в отделе телефонов не хватает?” Я в тот же миг навострил уши: что ответит Оксана. Но Оксана пожала плечами, а сослуживица извинилась: “Прости за глупый вопрос. Говорить со своим молодым человеком лучше без посторонних ушей...” — И она рассмеялась, а Оксана слегка покраснела. Но была ли “третьей женой” скромница Оксана — большой вопрос. Так я и не выведал, кто она, моя очаровательная преданная третья жена? В этой тайне было какое-то упоение, иллюзия любви и счастья. И даже, наверное, хорошо, что не нашлось отгадки.

Но главное во всей истории с приступом было другое: лекарство-наркотик. Оно настолько поразило меня, что потом, даже много позже приступа, я всё ещё надеялся, что такой же приступ повторится и мне достанется тот же самый искусительный обезболивающий препарат. Я перенёс лютую боль, истерику, но я готов был перенести её ещё раз, ради избавительного укола, ради фиолетового неба со звёздами и бесконечной радости, которая постепенно насыщает тело, а потом и душу...

Почему мне лезла в голову эта история, было понятно: я вёз в машине таблетки. Глупо, но мне хотелось их попробовать, испытать, как тогда испытывал “возвышающее” действие лекарства.

Нужно было вытаскивать Толика. Помочь в этом сейчас мог Виталий Шаров.

7

Деятельный человек с годами всегда обрастает связями, знакомствами, блатом. Коллеги, однокашники, армейские друзья, однокурсники — они сидят сложа руки, они становятся начальниками, влиятельными чиновниками, получают звания и звёзды на погоны. Виталий Шаров был ментом. Ментом азартным, которые не любят проигрывать. Этот Шаров, будучи когда-то капитаном, попортил мне немало крови.

В стране в девяностые — бум предпринимательства, вернее, лёгкой поживы и откровенного воровства; конторы появлялись и исчезали. ТОО — товарищества с ограниченной ответственностью. Как мило, с ограниченной ответственностью! Почему не с полной? Я, разумеется, открыл свое ТОО, потом ещё одно, а потом ЗАО и т. п. Но забывал конторы закрывать, так и получилось, что одно брошенное ТОО вместе со всеми документами повисло на бухгалтерше Ксюше-пулемётчице. Она не говорила, а частила словами, словно пулемёт, вот и подошло ей прозвище “пулемётчица”. С Ксюшей у меня был коротенький роман, даже не роман, а так — “перешихушки”. Почти все директора-“тоошники” со своими бухгалтерами спали, так было проще обговаривать аферы.

Но с Ксюшей произошёл у нас разрыв, безболезненный, мирный, что-то не срослось, а вот документы и печати ТОО с романтическим названием “Северный монолит” так и остались у неё. Они должны были кануть в Лету, такое было делом обычным, но они не канули, а всплыли у мента Виталия Шарова.

Меня потащили на допрос, тут я увидел его и удивился капитану Шарову. Он сидел в убогом ментовском кабинете, но каким щёголем! В костюмчике с иголочки, курил дорогие сигареты, на руке — золотой браслет, на пальце — перстень из белого золота. Шаров острым взглядом мента и психолога, наверное, определил, что я ни в чём не виновен, хотя сначала напустил такого туману, что меня на расстрел могли увести без суда и следствия...

— Вот документы, гражданин Бурков. Пять вагонов с цементом вы получили от Гурьянского цементного завода и не заплатили ни копейки, хотя гарантировали...

— Ничего я не получал! Ничего не гарантировал! — вскричал я. — Не было у меня никакого контракта. Клянусь, не было!

Тут Шаров панибратски сказал:

— Да верю, верю я тебе, Валентин. Но весь хрен в том, что и печати, и устав твоего ТОО “Северный монолит” неподдельные. Шерше ля фам... Бухгалтерша твоя где?

— Не знаю. Она теперь у меня не работает.

— А документы и печати у неё остались?

— У неё. У неё! Найду её, суку, Ксюшку-пулемётчицу! — не стерпел я.

— Пулемётчицу? Это любопытно. Надо найти, гражданин Бурков. Пять вагонов с цементом — это, конечно, не батон колбасы, украденный в магазине. За батон колбасы ты бы пару лет схлопотал. За двести тонн украденного цемента тебя явно не посадят, откупишься, выкрутишься. Но пятно грязное будет...

Тут я рассмеялся и всё перевёл в шутку:

— Прости, начальник, но не виноватая я... А Ксюшку-пулемётчицу тебе доставлю. С ней обо всём и перетрёте.

— Я думаю, что она тоже не виновна. Какой-нибудь её хахаль подсуетился. На чистых бланках расписывался, Валентин? На ордерах приходных-расходных, в книжке чековой? — тут он сменил тему допроса. — Ну ладно, время позднее, конец дня, пятница. Пошли в ресторан. Перекусим. Там всё и обсудим...

Я сразу понял, что платить за ресторан придётся мне. Но этому и обрадовался: иметь в приятелях такого капитана, явного проныру, немножко хама и циника, который цепок, но не корчит из себя гениального сыскаря, — факт очень выгодный. Да и если он идёт со мной в ресторан, значит, мне доверяет, он не глуп, с шантрапой, урками пить не будет, и обо мне, видать, кое-что уже вызнал.

В ресторане мы с Шаровым крепко нагузились. Шаров напрямую сказал мне:

— Пять тысяч долларов — я всё улажу... Найду этого гадёныша, кто твою Ксюшку-пулемётчицу отпугемётил.

— Слово?

— Слово офицера! — пьяно ухмыльнулся Шаров.

Потом, ещё подвыпив, я приобнял Шарова и спросил напрямую, глядя в глаза:

— Скажи мне, Виталий, — в этом месте я споткнулся: я хотел спросить его с некоторой осторожной язвительностью: “Сколько?..” — но в последний миг изменил свой вопрос и снял язвительность: — Что тебе нужно для счастья?

Шаров задумался, как-то собрался, даже будто бы протрезвел и ответил серьёзно и уж точно честно:

— Самое главное для меня — чтобы мать не болела. Всё остальное чепуха... Мать у меня прихватило сильно. Не знаю, выкарабкается ли? Лекарство импортное нужно.

Эта искренность Шарова запала мне в сердце.

Мать у Виталия Шарова не выкарабкалась. Шаров вскоре после смерти матери женился и, странное дело, перестал щеголять в красивых костюмах, снял золотые украшения, ходил в основном в милицейской форме, хотя по-прежнему был аккуратен, любил стоящие вина, дорогие сигареты и кофе “американо”.

Теперь Виталий был уже целым подполковником, сидел в просторном меблированном кабинете под портретом президента, в новой полицейской форме, да и должность в иерархии полиции занимал весомую для провинциального Гурьянска — один из замов районного начальника.

Я застал Шарова взбудораженным: он ходил по кабинету туда-сюда и отчитывал сотрудника за какую-то утечку информации. Ещё заглянув в кабинет, я спросил: “Может, мне подождать?” Но Шаров выкрикнул:

— Заходи, заходи! Это и тебя касается!

Перед Шаровым сидел молодой человек, в гражданском костюме, вертел в руках сотовый телефон, — видать, из оперативных сотрудников; речь шла о какой-то операции, которая чуть было не сорвалась или результаты которой ещё были до конца не ясны. “А при чем тут я?” — подумалось мне.

Шаров вскоре ответил на мой не оглашённый вопрос:

— Вот вы, строители, несли взятки чемоданами Галковскому, ныли, ждали, чтоб мы его поскорее на нары кинули. А когда мы попросили вас помочь нам — все задницу в горстку, и никто против Галковского. А почему?

— А потому что Галковский кормит губернию и Москву! — возразил я. — Ты его за задницу, а завтра его задницу московские воротилы в кресло вице-губернатора посадят.

— Думаю, что нет. Отрекутся, — тихо произнёс молодой опер. — Сейчас время сливать губернаторских обжор...

— Да, над нашей губернией тоже собираются тучи, — сказал Шаров. — Хотя у каждого чиновника грехов — выше крыши. Но у Галковского их более чем. Он, мерзавец, своих женщин в конторе заставлял ходить на работу исключительно на каблуках, исключительно в юбках, некий дресс-код. Значит, и домогался к кому-то. Значит, кто-то на него точит зуб и готов свидетельствовать.

— Думаю, не без того, — подтвердил опер.

— Найди парочку жертв. На всякий случай и эту подпорку используем. Чем больше свидетелей, тем лучше. Можешь идти.

— Есть, — отозвался опер. Вышел из кабинета.

— Ты давал взятки Галковскому? — спросил меня Шаров. Он смотрел мне прямо в глаза.

— Разумеется, — ответил я. — Как все. Без его подписи к коммуникациям в городе не подпустят.

— Можешь подтвердить это сейчас? Хотя бы устно? При Галковском?

Я растерялся. Дело пахло жареным. Шаров — мент, его работа — играть с огнём. А мне в кошки-мышки играть не резон. Но выходило сейчас так, что я зависим от Шарова, я же пришёл к нему в роли просителя, на карте — судьба сына. Я почувствовал, как озноб пробежал по спине, и внутри меня что-то загудело — будто бы страх, который испытывал в детстве, когда приближалась драка.

Всё-таки связываться с ментами — дело скользкое. Лучше бы не связываться никогда. Настоящий мент, а тот же Шаров был ментом настоящим, должен быть умён и коварен. Если ты у него чего-нибудь просишь, знай, завтра он попросит у тебя. И ещё неизвестно, что дороже... Лучше жить по закону. Но я по закону не жил. Вертелся, взятки давал, обманывал налоговую, финтил кое-что с банком, успокаивал себя: все так делают, без этого в бизнесе не выжить... Врал, конечно, сам себе. Но чистеньким перед Шаровым казаться не хотел и не мог.

— Виталий, я тебе верю. Я готов сказать в присутствии Галковского, что давал ему взятки. К тому же, на вашем языке говоря, у меня есть кой-какая вещественная база.

Шаров протянул мне руку, ожесточённо тряхнул её, сказал:

— Спасибо! Пойдём! Галковский у нас в подвале сидит.

— Не может быть! Сам Галковский в подвале?

— Сегодня на даче взятки прихватили. При обыске ещё нашли двадцать миллионов наличными.

...Это был зажравшийся воротила. Чиновник, который давал разрешения на любую стройку в городе и районе. Взятки и откаты у него вошли в систему, он делился с теми, кто стоял над ним, и, видно, совсем потерял чувство опасности. Вот и попался. Или кто-то захотел его убить, потому что слишком много знает. Дело тёмное и грязное. Там, где большие деньги, — вечные сумерки...

Мы вошли с Шаровым в одиночную камеру. Там было чисто, светло. На кровати сидел человек в спортивном костюме, руки у него были сцеплены в замок. Это и был Галковский. Я его даже не узнал. Он был без очков,

без галстука, без белой сорочки, он снял, потерялся. Словно бы орёл стал воробьём. Шаров строго и чётко заявил:

— Господин Галковский, это не для протокола, а для информации... Валентин Андреевич, — обратился потом ко мне Шаров, — вам известен этот человек?

— Да, я его знаю, — твёрдо ответил я.

— Вы давали господину Галковскому взятки?

— Да. Я отправлял деньги на счета, указанные им.

Галковский сперва как будто не понял, о чём речь, потом побледнел, прошептал:

— Я требую адвоката!

— В данный момент обойдётся без адвоката.

Галковский вскочил с кровати, выкрикнул:

— Зачем вам это нужно, Шаров?!

— Хотя бы время от времени таких, как ты, надо сажать в тюрьму. А лучше бы расстреливать, — не церемонясь, ответил Шаров.

Галковский перевёл взгляд на меня, голос его был по-щеничьи обиженным и укорительным:

— Валентин Андреевич, — впервые он меня назвал по имени-отчеству, — как же вы так? Я же вам никогда не отказывал, а вы... Мент выслужаться хочет, но вам-то...

В первый момент после этих разоблачительных слов я растерялся, но совсем ненадолго. Будто в ответ на его укорительные слова разом промелькнули передо мною десятки унижительных для меня картинок, когда я просителем отирался в приёмной Галковского, когда ловил его в коридорах и о чём-то упрасивал, когда подносил подарки ко Дню защитника Отечества.

— Мне тебя не жалко! — брезгливо сказал я.

Встреча с бывшим чиновником кончилась. Я был уверен, что Шаров упрячет его за решётку. Мне ничего не грозит. Новый назначенец вряд ли будет мстить за проворовавшегося бывшего... Впрочем, никто не знает, как ляжет карта. Ведь и этот жулик вряд ли думал, что попадёт на нары. Выйдя из камеры Галковского, я символически сплюнул, сказал:

— Все знали, что он вор, а столько лет сидел в кресле, позорил власть, портил дело, гадил обществу.

Шаров внимательно и хитровато посмотрел на меня, спросил:

— Но ведь это многих устраивало? Кто его хотел вывести на чистую воду? Он доил деньги из ЖЖХ, из строителей, отдавал своим людям подряды. Кормил чинуш из области, имел московские связи...

— Хватит о нём. Я к тебе по другому делу!

Мы вернулись с Шаровым в его кабинет. Я молча выложил на стол пакет с таблетками. Шаров посмотрел на них без особого интереса, как будто видел такие таблетки каждый день.

— Мой сын влип в дурную компанию. Боюсь, что его пасут какие-то гниды.

— Наркотики — статья тяжёлая. Твоего парня надо спасать.

Я рассказал Шарову о загадочном поведении сына, о его знакомых, о “жигулёнке”, на котором ехал Толик.

Шаров курил сигарету. Курил он красиво. Я смотрел на него и даже немного любовался. Теперь это был не капитанишко в ободранном кабинете, который после работы шёл в кабак на халяву. Теперь передо мной сидел прагматичный, расчётливый полицейский старшего офицерского чина. Правда, левыми деньгами и подарками Шаров не брезговал, но цели разбогатеть он не ставил, сомнительные подношения сразу отвергал; от моих подарков он не отказывался, надеялся, что не предам его. Но вообще-то он как-то холодно относился к деньгам. Если они ему были нужны, он их доставал, а деньги ради денег — это было для него чем-то вроде паскудства. Он и сотрудников тут же увольнял, если замечал за ними шкурничество. Сейчас Шаров молчал. Я кончил свой рассказ и ждал.

— Много лет назад, я тогда лейтёхой был, дураком, первые дела только вёл... Словом, паренька я одного посадил. Васей звали. Никак простить

себе не могу. Его друзья подставили... Отнеси, мол, посылочку — заработаешь. Потом ещё, потом ещё... А когда папан расчухал, что стал наркокурьером, возмутился. А те ему, если вякнешь — сядешь. Сдали в конце концов. Я мог ему помочь, но... То ли ума не хватило, то ли тщеславие сопливое — раскрыл, мол, целую цепь. Словом, парнишке дали три года. На зоне какие-то скоты его снова подставили, его изнасиловали... Он повесился.

— В чём мораль? — спросил я.

— Жить тяжело. Грехов много. Надо бы хоть в церковь ходить... Да всё как-то не получается... Твоего Толика я криминалу не отдам! — вдруг резко сказал Шаров. (С сыном он был шапошно знаком, даже как-то раз играл в шахматы.) — Ты сказал, что он ехал на раздолбанных “жигулях”. Номер помнишь?

Я назвал номер.

— Заходи завтра, Валентин. Я пробью, чья машина. И вообще что-нибудь придумаем. Таблетки подержи у себя. Экспертизу надо сделать...

8

День сломался, планы — насмарку. Ох, уж эти неожиданные вводные! Задумаешь одно, а делаешь другое. Так и по всей жизни получалось. Мечты в одну сторону, реальность — в другую. А ведь день начинался так бодро, с весеннего эликсира, с настроения: впереди поездка в Одессу, отпуск, даже что-то лирической-любовное, ведь в Одессе жила Лада... А тут один внезапный удар, второй — удар, третий... Третий будет сейчас.

Моим соседом по таунхаусу был приятель Галковского, чиновник из администрации Соловьёв, через него мне тоже приходилось проворачивать некоторые делишки, связанные со строительными подрядами. Соловьёву придётся признаться во встрече с Галковским в полиции и в том, что я ничего о нём скрывать не буду: пусть тонет... Но ведь Соловьёв был с Галковским в одной лодке. Тыфу ты, чёрт! Одно тянет за собой другое. Это как сантехнику отремонтировать. Вроде бы только прокладку сменить в смесителе. Раскрутил — оказалось, надо менять и весь смеситель, и даже все трубы надо менять...

Вроде бы Достоевский написал о том, что человек рассчитывает один-два варианта в жизни, а жизнь даёт миллион вариантов. Ничего не угадать. Может, тогда стоит плыть по течению, если за нас всё решено наперёд?

Но в Бога я почему-то не верил. Вернее, Бог был для меня величиной абсолютно абстрактной, виртуальной: нечто нематериальное, сотканное из мыслей и чувств человека... Традиционно верующих я уважал. Даже завидовал им, а сам от веры был далёк настолько, что ни разу и лба своего не крестил, хотя мать говорила, что в младенчестве к нам домой приходил священник и покрестил меня и мою старшую сестру разом, минуя церковь. Мать учительницей работала, стеснялась — комсомолка была, активистка, да и отец был партийный. Но покрестить детей не считала лишним.

Я подбехал к своей калитке, оставил машину, обогнул часть нашего двухэтажного дома, где занимал одну половину, другую занимал Соловьёв с женой. Увидел его машину в небольшом дворике, но сразу к нему не пошёл. Несколько таунхаусов строила моя фирма, в том числе и этот дом, который был под моим особым контролем. Я знал, что буду жить здесь, знал, кто будет моим соседом, и то ли бес попутал, то ли какой-то инстинкт любопытства, а может, самосохранения выиграл, в кладовке первого этажа я не заложил вентиляционный люк и при желании, отодвинув секретную заслонку, мог подслушать, о чём говорили соседи в столовой... Туда я и направился, зная почти твёрдо, что речь идёт об аресте Галковского, и мне нужно понять настроение и мысли его соратника и сообщника.

Гадко это, противно — кого-то подслушивать, за кем-то шпионить, но “какать захочешь — так присядешь”, говорят в народе... Мне это было нужно: знать, о чём говорят в доме Соловьёва.

По голосам я сразу понял: Соловьёв пьян, а его молодая жена Ирина раскалена, даже мат проскакивает в речи.

— Да без его денег они куски дерьма! Галковский их кормил, а теперь кто будет? — услышал я голос Соловьёва.

— Найдутся такие же хапуги, — зло кинула Ирина. — Деньги, деньги, деньги, всё у вас деньги! Сколько раз тебе говорила: угомонись, отойди в сторону, а ты совсем голову потерял... Теперь всё отберут, тебя за решётку бросят, а мне что — в комнату в общежитии идти?

— Только о своей шкуре думаешь, — устало пробормотал Соловьёв.

— А что мне не думать?! Я молодая ещё! Жить хочу!

Этой заслонкой я пользовался всего второй раз, хотя жили мы в этом доме уже третий год. Однажды мне нужно было подслушать, о чём говорил Соловьёв с гостем, каким-то барыгой из московского министерства, который доил наш город, курируя большой федеральный строительный проект. Но слушал я их разговор недолго. Они говорили о политике, перемывали кости премьеру и министрам, обсуждали их всем известные решения и ничего закулисного, ничего оригинального. Такое плетут в любой компании, за любым пьяным мужским столом. А у меня есть принцип, ну, принцип — не принцип, но есть некая установка: о политике болтать не хочу! Даже есть такая команда: “Стоп! Меня это не касается!” Я не в силах что-либо поменять “наверху”, чего ж об этом и говорить? Там совсем другой мир, другие связи и силы, и никогда не откроется та личность, которая принимает решения, а чесать лясы попусту о том, почему у премьера мешки под глазами, — чужь собачья! Моя политика делалась вокруг меня, та политика, на которую я мог повлиять, где я принимаю решения. Так я и перестал слушать трёх московского гостя с Соловьёвым, хотя московский гость, наверное, кое-что знал из сокрытой от толпы жизни верхов, но, думается, тоже вряд ли мог влиять на Политику, — так, карманы себе набивал на хлебном месте...

— ..Чего ты раскудахталась? За границу уеду — вот и весь хрен!

— Кому ты там нужен? — съязвила Ирина.

— Я не нужен. Мои деньги нужны! — ответил Соловьёв строго. (Я даже представил его кривую ухмылку.) — Тебе ведь мои деньги тоже нужны оказались?

Ирина молчала: вопрос коварный. А Соловьёв ей подсказывал, пьяно и вульгарно:

— Вспомни, откуда я тебя выгатажил? Если б не я, работала бы швейей на фабрике, жила бы в бараке с алкашом-слесарем, пила бы... не мартини в итальянских ресторанах...

— Дурой была. Повелась на твои побрякушки, — негромко отозвалась Ирина. Тут она, как мне показалось, глубоко вздохнула и — почти в крик: — Да, за деньги! Да! Если б не деньги, чего бы ты, урод, стоил?! Ты посмотри на себя! Башка облезлая, живот большой, ножки — как спички... Я на тебя, урода, лучшие годы жизни положила. Ни ласки, ни настоящей любви не знала... Но и ты ни копейки в гроб с собой не унесёшь. Да и деньги-то ваши грязные. Обирали пенсионеров, стариков на квартплате надували. Ничего святого у вас, уродов, нету... Локти кусаю, что согласилась для тебя куклой служить...

Ирина была моложе Соловьёва лет на пятнадцать. Красивая, неглупая, хозяйственная — всё в дом, — но мина замедленного действия в их семейные отношения была заложена с самого начала: я знал, что и этот дом, и накопления Соловьёв переписал на свою дочь от первого брака, у которой к тому же трое детей — внуки соловьёвские.

— Ишь ты! Куклой она служила... — громко хмыкнул Соловьёв. — Я тоже жалею, что на тебе, курве, женился. Если б знал, какая ты... Ещё и на передок слабая... Думаешь, я не знаю, как ты к слесарю своему бегаешь?

Тупую семейную ругань слушать не хотелось, хотя и из неё можно выудить что-то ценное. Но уж больно противно. Я прекратил подслушивать. Осторожно перекрыл вентиляционную задвижку, замкнул тайный канал в чужую жизнь. Везде какие-то вывихи и изгибы. А ведь посмотришь на Соловьёва и Ирину со стороны: вроде радушная пара. Достаток, путешествия за границу, а оказывается...

К Соловьёву я не пошёл. Правда, скоро он сам, пьяный, с бутылкой виски приплёлся ко мне. Мне было неприятно и неловко смотреть на него. И жалко в то же время. А ему нужно было выговориться. Я это сразу понял. Он держал в себе тайну, но кто-то сказал: легче на языке держать раскалённые угли, чем тайну... Впрочем, тайна была относительной. Коррупционный скандал, конечно, скоро бы всплыл.

— Меня прижали, пришлось указать на Галковского... Вообще сейчас в городе всю колоду переменят. Галковский — это только начало.

Я смотрел на него, зная о его разговоре с женой, и мне он казался очень уродливым. Действительно, голова с редкими волосёнками, тонкие губы, дряблая шея... А ведь Ирина его молода, свежа, недурна собой... За деньги явно выскочила. Кто из них подлее? Он, который обворовывал пенсионеров через квитанции из ЖЭКов, или она, которая легла под него, как дворовая девка, и набивала себе цену... Впрочем, у таких, как Соловьёв, разве могут быть честные жёны?!

— Все воры, — заговорил упрямо и агрессивно Соловьёв. — Все, все воры! Каждый тащит на своём месте! Пусть понемногу, но тащит... Все воры! Все, кто имеет доступ к бюджету!

— Меня ты тоже вором считаешь?

— А твои строительные сметы честные? — запальчиво спросил Соловьёв. — Или отчёты в налоговую?

Я хотел было возразить, пуститься в рассуждения о сметах, о том, что советские сметы устарели, а новые, буржуазные, не выстроены правильно. Однако что-то остановило меня. Если даже я вор, то вор поневоле. Уж тем более бабушек через ЖЭКовские квитанции никогда не обирал... Но всё же Соловьёв прав. Все воровали — каждый на своём месте: в автосервисах, на стройке, в торговле... Везде, как зараза, как микробы, распространялось желание нечестного заработка. Я не знал, что с этим делать. Мне было противно всё это видеть, этот воровской капитализм, но его привили нам сверху, наверху должны были и прервать воровство. Но власть пока была слаба. Я об этом не рассуждал. Я это видел в реальности. И опять же не мог воздействовать на это. Потому и не любил, не хотел трепаться насчёт власти.

— А бабы все суки...

— Не все! — тут же возразил я.

Соловьёв вскинулся на меня, пьяно икнул, согласился:

— Наверное, не все. Те, кто возле денег, — все... Показали тут этого богача. Олигарха. Долговязый, с маленькой башкой. Придурок этот, ещё машину какую-то из пластика хотел сделать. Он стаями молодых девок на курорт возил. Кто эти девки? Шлюхи! Разве нужен был им этот змей? Они на его рожу смотрят, а видят толстую морду на долларе...

Он выпил ещё. Я не пил. Я сразу сказал, что пить не буду, мол, у меня есть ещё дела, придётся садиться за руль. Он и не настаивал, только попросил стакан воды или сока для запивки.

Затем мы услышали, а после увидели, как со стороны его дома уезжает машина. Это его жена Ирина помчалась куда-то на серебристом "Лексусе".

— Отчалила, курва... — пробормотал Соловьёв. — Ну, и пускай! Так лучше... — Он встал из-за стола. Чуть покачиваясь, пошёл к выходу. — Прощай, Валентин, — сказал он тихо и как-то раскаянно. Вяло махнул рукой.

Мне стало жаль Соловьёва, даже в сердце что-то кольнуло. Его патрона Галковского, которому светила "десяточка" за взяточничество и злоупотребления служебным положением, мне не было жалко — ни тогда, когда он был свободен и нагл, ни сейчас, когда он был в неволе и жалок, — а его пьяного сообщника на свободе стало жалко. Наверное, я знал о нём что-то большее, чем о Галковском. И вообще, когда знаешь о человеке достаточно, его всегда почему-то немного жаль. А может, я просто не встречал цельных, неуязвимых, счастливых людей?! В каждой судьбе была какая-то прореха, боль, которые нельзя было заклеить и залечить деньгами.

Что-то неприятное накатило в душу. Я пожалел, что не выпил с Соловьёвым, может быть, я как-то поддержал бы его. Он ведь, уходя от меня, совсем стух. И почему он вспомнил про этого придурка олигарха, который

начал лепить какой-то нелепый автомобиль? Мне вспомнился американский актёришка, богач из Голливуда, который ездил с молодыми шлюхами по миру. Они все улыбаются, ластятся к нему... Потом прошла информация: он покончил жизнь самоубийством в одном из дорогих отелей. Наверное, был пьян и разочарован, надоели ему все, в том числе смазливые бабы из окружения, да и сам он себе надоел, видать, порядком. Поставил точку. Может быть, уходу из жизни, что-то понял, что нельзя так жить, как животное, и что этому должен поскорее прийти конец. Вряд ли кто искренно сожалел, что он покончил с собой, — жалко было денег, которые он мог бы потратить на окружение... Где деньги — там безусловный цинизм. И любви там быть не может. Тут Соловьёв был прав. А его Ирине уж очень нравилась реклама, в которой баба говорила голосом стервы: “Если любишь — докажи!” — и дальше шла картинка: вывеска ювелирного магазина.

...Хлопок был не силен, но отчётливо слышен. Я сразу понял, что это выстрел из пистолета. Я находился в столовой, и, хотя с Соловьёвым нас разделяла капитальная стена, различить одиночный резкий хлопок вполне удалось. Я прибежал в прихожую, переобулся из тапочек в туфли, выскочил на улицу. Но тут же остановился. Какое моё дело? Зачем я буду совать нос в чужую судьбу? А если Соловьёв истекает кровью? Ещё жив пока? Нет, такой грех тоже тащить было бы тяжело. Набрал его номер. Телефон молчал. Я позвонил в полицию. Отделение было рядом. Попросил приехать. “С соседом явно что-то не то... И как будто выстрел...” Полицейские примчались через несколько минут. Так оно и случилось. Соловьёв застрелил себя выстрелом в висок. Смотри-ка, какой отчаянный — в висок! Случись бы мне стреляться, подумал я, стрелял бы себе в сердце. В голову неприятно, пуля мозги наружу вышибет...

Ночью не спалось. Пришлось пить виски, который оставил у меня Соловьёв. Чуть меньше полбутылки. Помянул, почтил его память... Хотя зачем жил этот человек? Он не приносил другим пользы, обирал бедных, жил за чужой счёт. Спросят ли его там, зачем он жил? Я сомневаюсь... Кое-как уснул, уже далеко за полночь. В бутылке виски ничего не осталось, зато спал почти до обеда как убитый. Телефон выключил.

9

Анна позвонила ближе к вечеру. Я возвращался из конторы: закрывал перед отпуском кое-какие бесконечные прорехи в делах. Ох, как хотелось думать о добром, о светлом, об отпуске, о встрече с Ладой, наконец... Не тут-то было! Анна кричала в трубку истерично, плакала, казалось, она во всём винила меня:

— Толика увезли полицейские! Забрали прямо из дома! Говорят, для выяснения... Какая-то машина! Как будто он угнал... Что делать? Они его посадят?

— Успокойся. Я всё узнаю и позвоню.

“Я всё узнаю и позвоню”, — я повторил эту фразу трижды.

Тут явно чувствовалась рука Шарова. Я набрал его номер. Но он в телефоне пропентал мне:

— Я на совещании... Не волнуйся, позвоню.

Хм, ждатель... Человек в экстремальной ситуации должен действовать, а мне предложили ждать. Я предложил ждать Анне. Где-то в полиции ждёт Толик. Чего? Я поехал домой, чтобы действительно успокоиться, подготовиться к разговору с Шаровым; подготовиться к самому худшему. А разве возможно подготовиться к самому худшему?!

Солнце садилось. Стало прохладней. В приоткрытое окно уже врвалась холодный поток. Но в этом потоке весеннего воздуха было что-то живое, новое... Сын у ментов, замечен в угоне машины и — упаси Бог! — в распространении наркоты; с любовницей разлад и скандал, дочка в Москве собирается выскочить замуж за какого-то старика... моих лет, да ещё сосед-коррупционер застрелился, чтоб не сидеть в тюрьме... — весёленькое время!

У дома, у соседской калитки, я увидел грузовую машину с мебельным фургоном. Грузчики выносили из дома вещи, упаковывали в фургон. Что за чертовщина? Неужели грабеж? Но вскоре я заметил вдову Соловьёва.

— Вещи забираю! Сваливаю! — с некоторым вызовом сказала Ирина.

— Что так?

— Этот скотина дом записал на дочь от первого брака. У неё трое отпрысков. Уже приезжала, осматривала... — Тут у Ирины что-то поперхнулось в горле, видать, слеза перебила голос: — А это всё моё, нажитое! Своё забираю. Своё! — Она даже постукала себе кулачком в грудь.

Я пожал плечами, пошёл к себе домой: ничего против не имею, и в ваши имущественные дела с покойным не полезу. Причудлива жизнь! А Соловьёв-то оказался не промах: чуял цену *любви* молодой супружницы, поэтому всё имущество на дочку от первого брака и записал.

Я ходил из угла в угол, ждал известий от Шарова. В голову лезла разная чепуха. Почему-то вспомнился эпизод.

Это был жуткий эпизод. В начале девяностых. Разное пойло продавали везде, где возможно: все киоски были забиты бутылками. На многих висели объявления “Куплю ваучер”. У меня тогда был провал: ни шиша в кармане. От отчаяния и злости я взял свой ваучер и пошёл к ближайшему киоску. Зачем мне этот ваучер?! Те, кто дорвался до власти, не вызывали никакого доверия, про уважение — и заикаться не стоило. Всё равно обманут...

— Сколько за ваучер? — спросил я бабу в окошке за зарешённой витриной.

Она ответила.

— Чего так мало? — возмутился я. — На пару бутылок дешёвой водки только...

— Скоро эти фантики вообще отменят, — фыркнула продавщица. — Не хочешь — отходи! Очередь ждёт.

— Ладно, давай, — я в общем-то без сожаления, а скорее с брезгливостью сунул ваучер в окошко.

Баба продавщица зорко разглядела ваучер, потом дала мне пачечку мятых, грязненьких купюр. “Мелочью, сволочь, дала!” — подумал я.

Я не отошёл далеко от зарешённого киоска, стал считать деньги. Зачем считал, сам не знаю. Оспорить бабу в окошке, если она даже меня обчитала, было невозможно. Сзади я услышал разговор двух парней, наглых, весёлых, подвыпивших. Оба в кожанках, в спортивных штанах, в кроссовках, говорят с блатным привкусом, но явно не блатные — фреерочки. Покупали они виски и “Амаретто”. Говорили о каких-то “тёлках”, к которым сейчас “ломанутся”... Я невольно стал наблюдать за ними. И тут сбоку к ним подчалил мужик. Бомж не бомж, вернее всего, доходяга алкоголик в грязной тельняшке. Стал канючить:

— Ребята, выручите, немного не хватает...

— Зачем тебе? Ботинки новые купить? — язвили парни.

— Не-ет. На бутылку красного.

Один из парней вдруг сказал:

— У меня сегодня день рождения. Я куплю тебе бутылку красного, только при условии: ты её сразу, без остановки, выпьешь из горла. Сможешь?

— Запросто! Я моряк! Всё пропьём, а флот не опозорим! — раздухалился мужик.

— Если не сможешь, отдаёшь мне свою тельняшку, — позубоскалил парень. — Всё, по рукам?

— Да чего тут! Не первый раз.

Пил доходяга прямо у киоска. Бутылку вина. Я навсегда запомнил название той гадости “Золотые купола”. Начал он лихо, опрокинул бутылку, задрал голову. Перед этим улыбнулся, осклабился:

— Ну, с днём рожденьица! Давай, поехали!

И он осипил, выпил. Отстоял честь флота. Дотерпел.

— Ну, молоток, мужик! Спас тельняшку. Всю бутылку одолел, — поспеивались парни.

Мужик тоже улыбался. Но уже не так, как перед питьём. Он улыбался как-то дико, словно не понимал, где он, что с ним и, наверное, не слышал, что ему говорили молодые зубоскалы. Парни ещё подшучивали, нахваливали героя-моряка, а мужик бледнел. В какой-то момент он разом, будто подрубленный, упал. Ни один из парней не дал ему руку, не помог, они резко свалили. Я подошёл к мужику, наклонился и тут же понял, что он уже мёртв. Что это было? Глупость? Жадность? Подлость парней? Кто виноват? И за что погиб этот мужик? Ведь ещё не старый. Годов под пятьдесят...

Поняв, что он мёртв, — скорее всего, враз отключилась печень, получив такой удар пойла неизвестного происхождения, — я тоже поспешил уйти от киоска, чтобы не числиться свидетелем.

...Нет, видно, не зря я вспомнил этот эпизод. Жизнь чудна и жестока. Что-то в неизбежный момент в ней сшибается, сносит с катушек, и всё катится под откос. Я снова напомнил себе с горькой усмешкой: мой сын в КПЗ, с любовницей — раздрай, дочь выходит чёрт знает за кого замуж, сосед застрелился, его вдова вывозит мебель... В этом есть какая-то очевидная хрупкость и неустойчивость жизни. Раз — и что-то оборвалось навсегда.

Я не выдержал — снова позвонил Шарову. Не может его совещание продолжаться два часа. Да и рабочий день кончился.

— А я тебе собирался звонить! — радостно откликнулся Шаров.

“Вот мент! Ведь знал, что жду его звонка, а он не звонил почему-то, чего-то выжидал, испытывал... зачем-то оттягивал”.

— На каком основании... — начал было я, но Шаров перебил меня:

— Спокойно выслушай, а потом будешь задавать вопросы. — Шаров прервался, скорее всего, закурил сигарету. — Твоему сыну нужна сильная встряска. Болевой психологический шок! Что-то вроде удара током, ожога утюгом или строгий отцовский ремень... Его задержали, я подчёркиваю — задержали! — по подозрению в угоне автомобиля... Ну, той развалюхи-“жигулёнка”... Все его дружки не знают, за что его задержали, поэтому прижмут хвосты, постараются отгородиться от него. Ведь за таблеточки светит ого-го! Так что ты, Валентин, не суетись. Твой парень должен побыть в изоляции. Пусть немного посидит в подвале. Это очень полезно... Главное в этой истории — оградить его от дружков. Понимаешь, раз — и навсегда. Раз — и навсегда! Это же не герыч. Это герыч — для индивидуалов, а таблеточки — это компания. Нет компании — нет интереса к этому дерьму... Мать Толика предупреди: мол, сынок сильно обкакался, надо хорошенько помыть ему задницу. Про наркоту больше ни слова... И вообще тебе сына надо нагрузить чем-то другим. Возьми его к себе в бизнес. Поменяй институт ему. Или... Или жени! Это выход, кстати.

— Ему только двадцать лет.

— Это и хорошо. Ранний брак для мужчины — это спасение. Появляется ответственность, включаются мозги. А то за юбку мамки держатся до сорока лет, а потом...

— По-моему, невесты у него нет, — с сомнением усмехнулся я.

— Подбери! — цинично и расчётливо сказал Шаров. — У нас в городе, по статистике, на одного мужика приходится по две бабы. А ночьку Толик пусть проведёт на нарах. Это отрезвляет. Попроше надо и пожестче. Пусть он почувствует прелесть — пожить хотя бы ночь в шкуре преступника...

Я не нашёлся, как и чем опровергнуть суждения Шарова. Он был опычнее и умнее меня в этих вопросах. Только что-то шелохнулось в сердце, и я напомнил себе об уколе, которым спасал (точнее — калечил) своего сына, чтоб укрыть от армии. Грех несмыслимый, дурной. Но ведь никто не мог дать гарантию, что в армии с ним не случится чего-то *такого*... Тогда и укол Льва Дмитрича покажется благом.

В прихожей брякнул колокольчик: кто-то пришёл. Я подозревал, кто это может быть. Интуиция — вовсе не мелочь! Какая-то совершенно зыбкая, неописуемая и неосязаемая, и в то же время существующая в мозгу догадка, предчувствие, махонький сигнальчик, который даёт основание на особые взаимоотношения с человеком, от которого пришло лёгкое дуновение эмоций,

или, напротив, ты сам стал источником этого сквознячка... Я не ошибся. Пришла Ирина, соседская вдова. И конечно, тоже с бутылкой, и тоже с дорогим виски, как ещё совсем недавно приходил сам Соловьёв.

Ирина была уже немного пьяна. Бутылка была неполной.

— Зашла вот, Валентин... Не прогонишь?

Она села на тот же стул в кухне, что и её покойный супруг. Она и курила, и пила так же, как Соловьёв. Всё же три года, которые они прожили вместе, наложили отпечаток. Она говорила, но я слушал вполуха, это был какой-то оправдательный трёп: как она настрадалась, зная, что в любую ночь, в любой час могут нагрянуть менты и забрать мужа “из тёплой постельки, с шёлковых простынок...” — она так и выразилась! — “на железную койку”. Я смотрел на неё исключительно сейчас как на женщину. Как самец на самку, которая свободна, полупьяна и в общем-то вряд ли откажет, если захотеть с ней оказаться на одной постельке... Смазливая, с мелкими чертами лица, небольшими, но пухлыми губками, всегда ярко покрашенными, глаза выразительные, серые, большие; голос соблазнительный, тихий и вкрадчивый, по фигуре не толста — не тонка, *самое то* для любовных утех. Сидела она нога на ногу, не в брюках — в юбке, в чулках, и на её колени я часто косил взгляд.

— ..Не знаю, Валя, какого ты рода-племени, а я не скрываю, что вышла из грязи. Барак, отец — работяга, пил, конечно, мать и меня из дому гонял... Мне такой судьбы не хотелось — вот я и оказалась замужем за стариком Соловьёвым. Он меня особо не доставал, так что жила и жила на свой лад. Но я всегда знала, что как по канату иду... Подует посильнее и — на хрен вниз! — Она передохнула, выпила. Я тоже пригубил из рюмки вместе с ней. — Ну вот, всю мою судьбу ты и знаешь. Да и знать-то нечего. А все денежки и недвижимость этот жлоб на дочку записал. Он только дочку и любил. Я ему была нужна так, для картинки, для солидности. Молодая, симпатичная... — Тут Ирина посмотрела на меня и кокетливо и с некоторым вызовом. — А тебе я нравлюсь, Валя?

— Нравишься, — усмехнулся. Душой в общем-то я не покривил. Она была привлекательна, молода, чувствовалось, что в ней есть огонь, неутолённый темперамент.

— Может, Валечка, поваляемся немного? — спросила-предложила она, положив свою пухленькую аккуратную ручку с красиво — в красную точку — покрашенными ногтями мне на колено.

Я ненадолго замер, напомнил себе, что она всё ещё пока соседка, хотя она уже вдова, но всего лишь второй день.

— В другой раз, Ирочка, — отказал я мягко и снял со своего колена её руку.

Она встала, не скрывая обиды, колоче сказала:

— Второго раза не будет... Прощай, сосед!

— Будь здорова.

— Это я заберу, — она взяла бутылку виски — там оставалось ещё граммов сто — и пошла...

Попутного ветра, подумал я, хотя как мужчина я уже ругал себя, казнил даже: что ж ты, придурак, откажешь такой фифе, такой сдобной булочке! А мораль? Да какая тут мораль? Её тут нет, она тут не нужна, её тут и быть не должно! Ладно, всё! Стоп! Хватит об этом!

10

Последний телефонный разговор с сыном у меня был о злосчастных таблетках.

— Пап, пап! Мама сказала, что ты забрал пакет! — кричал Толик в трубку. В голосе сквозило не столько возмущение, сколько страх.

— О таблетках забудь. И вообще никому никогда — ни слова!

— Но ведь с меня они спросят... — голос сына дрогнул.

— Тем, кто с тебя спросит, я отвечу сам. Скажи, что отраву забрал я. И дай им номер моего телефона.

Теперь пакетик с таблетками лежал предо мной. И всё же, что это за дрянь? Я достал одну таблетку, внимательно рассмотрел на свету: ничего особенного, таблетка и таблетка, беленькая, обычных размеров. А как её принимать? Рассасывать, что ли? Нет, это вряд ли. Наверное, сразу глотать. Я забросил таблетку в рот, проглотил и тут же запил водой. Надо же попробовать, что это за чёртов препарат!

Прошло четверть часа. Прошло полчаса. Я ничего не чувствовал. Ни прилива сил, ни веселости, ни какого-то опьянения. Может, доза маловата, может, на меня этот опиум не действует уже — только молодых пробирает, у которых кровь живее... И всё же какое-то подспудное течение в моём организме и моих мозгах появилось. Я теперь не просто сожалел о том, что пренебрёг, упустил, недооценил соседку Ирину, нажав на тормоза стеснительности и морали, а клеймил себя некрасивыми словами за то, что упустил шанс “любви”, наслаждения — всего того, ради чего и живёт на земле мужчина! Ах, глупый дурень, простофиля, чудак с другой буквы! Может, к соседке сходить? Я её отшил... Можно извиниться — она понятливая... А если закобенится, ну и пусть — лишает себя удовольствия! Я рассмеялся и, осмелев окончательно, распалив себя, с одной стороны, желанием, с другой стороны — самоукоризной, что не воспользовался её предложением при первом шансе, собрался пойти к соседке Ирине. Что я ей скажу, припёршись ближе к полуночи в гости? Чего-нибудь скажу. Не дура — и так всё поймет. Я собрался и пошёл к соседке. Захватил с собой бутылку дорожной виски.

В окнах у Соловьёвых не горел свет. Спит, может? Надо позвонить на сотовый... Но телефон я с собой не захватил. Я подёргал ручку чугунной витиеватой калитки, догадался, что в доме никого нет. Уж слишком мёртво смотрелись окна. Да и вдова — чего она одна будет скорбеть в пустом доме. Не дура, хоть и только что вдова... Я опять рассмеялся.

Вернувшись к себе, я полез в старые записные книжки. Там у меня был где-то записан телефон одной дамы лёгкого, очень лёгкого, даже наилегчайшего поведения — мне опять стало смешно, — и ещё в сто раз сильнее захотелось женщины. Я искал телефон Маши. Пусть не получилось с соседкой-вдовой, но в Гурьянке полно женщин, которые готовы к любви, которые даже алчут, которые безотказны... Но их враз, под боком и не найдёшь. Для того, чтобы найти враз, и существуют эти Маши, которые одарят любовью за деньги.

Нет, как ни верти, нельзя запретить себе думать о жратве, о физической боли и боли душевной, а главное — нельзя запретить себе думать о женщине! Я искал телефон Маши, искал, и всё во мне зудело при воспоминании о ней. Ах! какая Маша!

Она была моей первой *покупной* женщиной. Я тогда позвонил в “контору дамских услуг”, заказал “подругу”. В то время я жил в другом доме, опасался соседей по подъезду, по лестничной клетке, поэтому то и дело бегал к двери, смотрел в глазок: было уже поздно, ночь, но вдруг в неурочный час попрётся какой-нибудь сосед или соседка выносить мусор...

Итак, я ждал свою первую проститутку. Волновался. Не мог усидеть на месте. Не знал, надо ли накрыть для приличия стол? Может, хотя бы шампанское и шоколад? Чуть какая-то! Продажную девку встречать шампанским!

Вот и долгожданный звонок в дверь. Я почему-то на цыпочках подошёл к двери, посмотрел в глазок: там стоял парень. Так и должно быть, это был развозчик — чернявый, усатый, какой-то нерусский. Открыл дверь. Парень, злоехидный, не здороваясь, тупо и грязно спросил: “Какую выбираешь?” К парню с обеих сторон подошли две девицы. Одна белая, остроносая, худая, размалёванная, как мальвина... Я сразу и наверняка знал, что не эту, хотя вторую толком ещё и не успел разглядеть, так, глянул мельком, но был уверен — вторая лучше подойдёт, она краше. Она, вторая, была в тёмной шляпке, так что тень заслоняла её лицо, а по фигуре она была полнущкой, в отличие от своей напарницы.

— Её, — сказал я осипшим голосом, указал на шляпку.

— Деньги сразу! — строго сказал парень.

— Сейчас, — я пошёл в комнату за деньгами, троица при этом осталась на лестничной клетке, и мне чудилось, что все соседи из всех глазков из квартирных дверей разглядывают эту пёструю компаньшу.

Я был тогда очень неопытен, мог бы подольше повыбирать, парню дать только предоплату... Но тогда я покорно отдал сразу все деньги. Пересчитав деньги, чернявый сказал:

— Буду ровно через два часа! — И он даже слегка подтолкнул ко мне ту, в шляпке, а белявая, которую я отверг, казалось, издевательски посмотрела на меня на прощание и беззвучно хмыкнула; возможно, мне это только показалось.

Только тогда, когда доставщик с белявой девицей, которая, похоже, нарочито цокала каблуками, спускаясь по лестнице, ушли и всё стихло, я, стыдясь и краснея, посмотрел на свою избранницу, тихо сказал:

— Проходите!

Язык не повернулся сразу назвать её на “ты”.

Она была пьяная, раскрашенная не меньше, чем белявая. Я в первую минуту уже десять раз пожалел, что стал искать приключений на свою задницу со шлюхами. К тому же она сразу наполнила дом чужим развратным запахом — запахом дешёвых духов, косметики, смешанным с алкоголем, с чем-то непотребным, вульгарным и знойным. Я даже захотел её сразу выгнать. Денег мне не было бы жаль... Но любопытство. Именно любопытство, а не страсть, сдерживали меня.

— Чё ж ты пьяная на работе? — разглядев блестящие от алкоголя глазки проститутки, я заговорил по-простецки.

— На моей службе без допингу нельзя! — Она рассмеялась. Этим она давала некий повод повеселиться с ней и не воспринимать всё всерьёз. Юмор — палочка-выручалочка во всех случаях жизни.

— Как звать? — спросил я.

— Маша! — сказала она громко. — Но не с Уралмаша... — Она опять засмеялась.

— Проходи в комнату, — кивнул я и подумал: это хорошо, что она не бука.

Она сняла с себя бережно шляпку, пальто. Пальто я помог ей снять, при этом придирчиво оценил её фигуру. Ничего особенного: толстоватая, невысокая, но грудь большая, аппетитная и щечки кругленькие, очень подходящие для проститутки.

Маша прошла в комнату, села в кресло, закурила, не спрашивая разрешения. Я решил её ни в чём не усекать — я же в первый раз, может быть, у них, людей этой профессии, так положено.

Вдруг Маша опять засмеялась, казалось, ни с того ни с сего, приступом, весело, будто её прорвало.

— Сейчас в сауне шутку рассказали... — сквозь смех заговорила она. — Выпив бокал вина в рыбном ресторане, Танечка поняла, что хочет не только рыбку съесть... — Она опять засмеялась. — Правда, классная шуточка? А? — Она шумно выдохнула дым сигареты, спросила: — А вина у тебя нет? Наверняка есть, доставай. Выпьём для сугрева.

— По-моему, тебе и без вина весело. В сауне тебя, видать, поднакачали...

— А ты что думал? — простосердечно призналась Маша. — Ты за день первый, что ли? Э-э, нет, бывает за ночь трое-четверо, а бывает, конечно, за неделю — голяк. Или один какой-нибудь скряга... Ты не верь, если кто-то тебе будет лапшу вешать, целкой прикидываться. Работа у нас сдельная... — Она рассмеялась. — А вот ещё, там в сауне один козёл рассказал... Мужик бабу снял в кабаке, привёз домой. Угостил вином. Ну, дело к сексу... Она раздалась. Он берёт ружьё и говорит: “Иди в огород”. А там холод, снег. Она — ему: “Ты чего, с ума сошёл?” Он ей: “Иди, а то застрелю!” Она голая вышла в огород. Он ей: “Лепи снеговика! Лепи, а то застрелю!” Она слепила снеговика. А мужик ей и говорит: “Ты пойми. Я в сексе-то не очень... Зато снеговика ты на всю жизнь запомнишь!” — Она опять смеялась.

— Ты анекдоты сюда приехала травить? — в моём голосе уже не скрыть было раздражения. Что за наглая шлюха? Призналась в том, что её только что имели, должно быть, несколько мужиков где-то в сауне, и теперь выгибается...

— Да нет, что вы?! — враз остепенилась она, заговорила даже на “вы”. — Я приехала к вам... Я свою работу знаю... Я профессионалка!.. Выйдите, пожалуйста, на минутку из комнаты. Мне нужно переодеться.

Первая мысль, которая просквозила мозг: “Я выйду, а она у меня что-нибудь стыбзит”. Но я послушно вышел из комнаты. Курил в кухне, чувствуя неловкость своего положения.

Минут через пять Маша позвала меня:

— Входите, мой господин!

Я вошёл в комнату, увидел её и слегка растерялся. Она была одета, или, правильнее, раздета, или, точнее, разодета — истинно как проститутка. В чёрных чулках в сеточку, со швом, с чёрным поясом, приспущенный с груди лифчик, тоже чёрный и ажурный, глаза язвительно и завлекательно горячи, а губы накрашены ярко-красно. Чёрные блестящие волосы отблескивали на свету; причём свет она успела подобрать: выключила люстру, зажгла бра над кроватью.

— Ну, мой господин, — тихо, вкрадчиво, развратно произнесла Маша и положила руку мне на брючный пояс.

...Оплаченные два часа истекли быстро. Но и насытился я ею быстро. Маша — не с Уралмаша — уехала. Я где-то на клочке бумаги записал её “личный” телефон, а не конторы... И всё мечтал повторить нашу встречу, но дела закрутили, и Маша — не с Уралмаша — растворилась где-то на просторах Отчизны, одаривая шальной похотью и своими анекдотами других клиентов. Я даже временами скучал по ней, по другим её “коллегам” — нет, а по ней скучал, может, потому что с ней впервые испробовал жуткий животный вкус иступления. Машу не забыть никогда. Маша — как наркотик. Я помнил о ней чувственно, осязательно даже. И теперь мне хотелось, жадно хотелось этого наркотика, я рыскал по записным книжкам, ведь клочок, на котором был записан её телефон, сунул куда-то в книжку. Хотя чушь, разве сохранился номер, разве может быть эта Маша несколько лет на одном месте? И всё же я упорно искал, хотел найти, хотел найти Машу — не с Уралмаша. Сейчас она подошла бы мне в самый раз! Под весёлое настроение! Я не чувствовал действия таблетки, я уж и забыл о ней. Но мне маниакально хотелось женщины. И в этом был какой-то решительный настрой, везельный и куражливый.

Наконец, я сказал: “Стоп! Машу не достать... Поехали к Полине! Не выгонит... Повинюсь, привезу букет цветов, шампанского... А там видно будет”. Что-то дико заньло, засвербело внутри... Мучительно захотелось плотской любви; представил, как с букетом роз примчусь к Полине, разбужу её, растрясёу, заберусь в тёплую постель... Нельзя запретить себе думать о женщине! Это невозможно! Точно так же, как голодному невозможно запретить думать о жратве... Я даже, грешным делом, подумал о своей *бывшей* Анне, хотя ещё много лет назад дал зарок на эту тему: даже в мыслях к ней не притрагиваться... А что?! Сын сейчас в клетке, можно заехать и утешить Анну... Как-никак, немало прожили вместе.

Ночь. Тёмная, весенняя ночь. Ни луны, ни звёзд. Невидимое тёмное покрывало над головой. Тепло, ночью не прихватывает, и дух весны превосходно чувствуется. Я ехал и блаженно улыбался. А ехал я вроде бы к Полине... Но на развилке повернул на проспект Ильича. Немного в сторону от направления. Пока ещё не хотел признаваться сам себе, но ехал я на “весёлый угол”. Я ещё не решил твёрдо, не понимал своих намерений, но объяснение для них приготовил. Я мужчина, в силе, холостой, мне нужно *это!* Полмира мужчин *этим* пользуется!

На этой улице, в конце проспекта, в городе всегда отирались проститутки, поэтому у горожан и название здешнему месту было красноречивое. Су-тенёр или су-тенёрша подходили к обочине дороги сразу, как только маячили

включённые фары машины. Мне не хотелось общаться с сутенёром или с сутенёршей, мне хотелось подцепить девочку-одиночку, вышедшую без прикрытия, без посредников. Правда, таких, поговаривали, лупили конкурентки, да и под защитой работать было безопасней, хотя защита, конечно, была прозрачной, ведь уличной девке никогда не известно, в чьи лапы попадёт. Маньяк, убийца... “Свят, свят, свят...” — я рассмеялся.

Братъ уличную шлюху — это, конечно, неприлично. И всё же в этом-то есть особый кайф... Мог бы найти в интернете какую-нибудь “элитную”, но разве они чем-то отличаются от уличной? Снова — смех.

Вот она! Одинокая девушка! Я мысленно возрадовался, что обойдусь без шального примирения с Полиной. Правда, одинокая девица стояла не там, где должна стоять. Возможно, она и есть индивидуалка, ловящая клиентов ещё до “весёлого” развратного угла. Она торчала на остановке автобуса, которого, скорее всего, и не предвиделось.

Когда я приблизился, она подняла руку. Что это? Проститутки руку не поднимают... Всё же я остановил машину, приспустил окно, оценил девушку.

— Подвезите меня на Лобачевского, двадцать. Я заплачу. Без этого только... Я не проститутка!

Почему-то я сказал ей:

— Ладно, валяй, садись.

Девушка села на заднее сиденье — значит, точно: не проститутка.

Почему человек совершает поступки, которые не намеревался совершать?

Сложна, капризна психология! Малейшие веяния, какие-то флюиды... — и раз, всё катится не по-намеченному. Ну, ладно, сорвалось так сорвалось. Жалеть не надо! Всё! Вперед!

— На Лобачевского, двадцать — общежитие колледжа. Ты студентка? — спросил я девушку, оборотясь к ней.

— Да. Заканчиваю в этом году... Уборщицей в ресторане подрабатываю.

Смена кончается поздно, а на велосипед ещё не заработала.

— С юмором... Молодец! Не боишься поздно возвращаться?

— Боюсь... Меня обычно официантка на машине подвозила, а вчера она уволилась, и у меня — облом. Я тоже скоро уйду.

— Из-за официантки?

— Нет, надоело по ночам работать... А сегодня банкет ещё был, юбилей у какой-то тётки из мэрии. Подчинённые её блестящим конфетти осыпали — нескоро всё промоешь. К полу прилипло, ногтями оттирать.

— А родители где?

— Село Ильинское. Не слышали?

— Да ты почти землячка! Я сам родом из Васильевского посёлка. На другом берегу реки. В Ильинское я к Тимофею Ивановичу приезжал...

— Я помню вас. Меня Даша Баранова зовут. Я в коммуне у Тимофея Ивановича каждое лето. Я вообще хочу там жить... Там люди другие, там всё по-другому... — Даша говорила с интересом, а я потихоньку мотал себе на ус... — В коммуне сейчас уже двести домов. Там люди друг другу не завидуют. Понимаете?

— Понимаю!

Мы доехали до общежития. Даша полезла за деньгами. Я следил за этим...

— Сколько я должна?

— Сколько не жалко...

— Всё жалко! — рассмеялась Даша. — Я-то думала, вы меня по-землячески так подбросите.

— Я проверить тебя решил, как среагируешь. Молодец, честно призналась, что жалко...

— Деньги нелегко достаются.

— Хочешь подработать? — спросил я.

— Конечно, хочу!

— Позвони мне завтра. У меня в доме надо генеральную уборку сделать. На двух этажах.

Даша на меня пристально посмотрела. В салоне воцарилась какая-то минуточка загадочной тишины.

— Ты плохое-то, Даша, не думай. Ты мне в дочки годишься. Я к тебе приставать или что-то такое не буду...

— А вдруг я буду? — рассмеялась она. — У меня есть подружка, студентка тоже. Конечно, она скрывает, но вроде как содержанка, живёт с одним богатым... Призналась мне, что привыкла очень. Путных парней всё равно на всех девочек не хватает... Она даже говорит, что любит своего папика. А он уж старичок.

— Я для тебя тоже старичок? — спросил я.

— Конечно!

— А у тебя парень есть?

— В кандидаты напрашивается?

— А вдруг?

— Нет пока парня. Тюфяки все какие-то. Выбрать не из кого.

— Ну, пока, позвони...

Мы расстались.

Искать на ночь себе подругу почему-то расхотелось. Поехали домой! Никаких приключений! Как говорил классик: может и курильщик посидеть без табачку. Вперед!

Ехал и вспоминал студентку Дашу. Пусть она внешне не красавица, обыкновенные черты лица, но она очень красива своей молодостью, непосредственностью, выросла в селе, работы не боится, язык подвешен, самостоятельная... Эх, Толика отдать бы ей в руки, на воспитание. Даша, похоже, себя таблетками развлекать не будет... Но главное — она мне напомнила про коммуны Тимофея Ивановича. Это был мой школьный учитель; он нам всё рассказывал про “Город Солнца”, про “Остров Утопия”, сам мечтал создать общество без зависти и богатства, где люди будут жить не на показ, а по совести и справедливости. Вот и строил он свою коммуны. Надо бы туда Толика на профилактику, да Дашу в напарницы...

Я вернулся домой, и только тут дома, в одиночестве, ощутил, как мне становится грустно, одиноко, скучно. Неужели таблетки так незаметно действовали, что я смеялся и весел был от их воздействия? А теперь запас энергии таблеток выходит. Вот ведь зараза! В какой-то миг было желание проглотить ещё таблетку... Но я рассмеялся своему желанию — назо! Всё, кранты! Эксперимент кончен!

...Сон был дурной и безжалостный.

Мне снился тот моряк-алкаш из девяностых, который “захлебнулся” в бутылке “красули”. Вот этот моряк падает, я подбегаю к нему, а на его месте лежит мой бездыханный Толик...

Я вздрогнул, промывал сквозь сон от боли и отчаяния и проснулся. Я сел на постели. Голова гудела, включил телефон (на ночь я его отключаю, вернее — только звук): несколько пропущенных вызовов, все от Анны. Понятно, он её сын. Он и мой сын. И он ещё ребенок! Да, ребёнок... Я стал поскорее собираться, чтобы поехать в полицию к Шарову. Анне позвонил с дороги, пообещал, что без Толика из полиции не выйду.

II

До Шарова я добрался только к обеду. Сперва он был на совещании, потом на каком-то срочном следственном эксперименте, потом опять на совещании, а потом проводил оперативку в своём ведомстве. Наконец, настал обеденный перерыв. Я сманил Шарова в ресторан, который был напротив их конторы. Там Шаров будет более разговорчив, после стакана вина отмякнет, всё растолкует и подскажет, как быть дальше с Толиком.

— Следователь его допросил, — докладывал мне Шаров. — К счастью, ничего серьёзного за ним нет. Даже машина, эта жёлтая развалюха, можно сказать, не в угоне. Её владелец бросил её во дворе. Полгода не ездил. Машина на ходу... Он бросил её за ненадобностью. Вот как народ живёт! Если, мол, угонят, туда ей и дорога. А мы на жизнь жалуемся. Хорошо, Валя,

в стране советской жить. И не хрен тут тужить! — Шаров развеселился, но мне было ясно, что он чего-то не договаривает. — Когда машинёшку угнали, хозяин не пошевелился. Сказал: "А вдруг вернут. Покатаются и на место поставят". Словом, с машиной дело замнётся быстро. А вот с таблетками... — Он задумался. Как всегда — ненадолго. Потом поднял бокал с вином: — Давай за жизнь! Какова она есть, за неё, милую!

Мы выпили. Шаров сидел слегка задумчив, но задумчив *негрустно*. Я не стал торопить его с рекомендациями по сыну, решил копнуть немного в сторону, хотя сам не понимал, зачем мне это, наверное, чистое любопытство:

— Скажи мне, Шаров, у тебя мечта есть?

Он враз оживился:

— Поехать в отпуск. К морю. Выспаться. Бросить курить... Да полно всяких мечт!

— Это не те мечты. Это условия комфорта, о которых мечтают каждый день. Я про другое. Альпинист хочет покорить Пик Коммунизма, лыжник — получить золото на Олимпиаде, певец — исполнить партию князя Игоря в Большом театре...

— Всё, брэк! — остановил Шаров. — Валя, я тебя понял. Было бы ещё время у меня для этих мечт. Нет у меня никаких высоких мечт, или как там правильно — мечтаний. Я циник. Такие, как я, ни во что не верят, не хотят верить, а когда ещё узнаешь, на что способны люди, совсем туши свет...

— Но ведь в юности-то что-то было? — не отставал я.

— В юности — было. Я мечтал стать бандитом. Воровская романтика. Шмары, деньги, автомобили. Хотел ограбить банк. Даже схемы рисовал нашей ближайшей сберкассы... А попал служить в ментовку. В армию — во внутренние войска. Зону охранял. Оттуда и подался в школу ментов. А ведь мог бы быть, наверно, неплохим вором. Это мне и помогает выйти на след разных негодяев. Я себя на место вора или бандита ставлю, и картина ясна...

— А в Бога ты веруешь? — зачем-то спросил я.

— Нет... — вздохнул Шаров.

— Вот и я не верую, — сказал я. — Но Бог есть... Был такой академик, не помню фамилию, какая-то нерусская. Он с пеной у рта доказывал, что нет никакого Бога, что всё это вымыслы. А вот 11 сентября, когда башни в Нью-Йорке разнесли, он усомнился в правильности своей теории. И больше никогда не говорил, что Бога нет.

— Почему?

— У него там дочь была в этих башнях.

— Выжила?

— Нет... В том-то и весь корень... Если даже ты не веришь, а кто-то другой верит, и от этого зависит твоя жизнь, значит, Он есть! Если бы не было Бога в широком смысле этого слова, не было бы и фанатиков-террористов. А если они есть, значит, есть и Бог...

— Ну, мне философствовать на такие темы некогда. У меня дела земные, уголовные. Поножовщина, бандиты. — Шаров набрал номер на мобильном телефоне. — Самсонова, бандиты. — Шаров набрал номер на мобильном телефоне. — Самсонова, из подвала Анатолия Буркова отпусти. Скажи ему между делом, чтоб больше не попадался и маму с папой слушался. И скажи: пусть ждёт у крыльца, сейчас отец за ним приедет.

— Валя, — обратился ко мне Шаров. — Психологический эксперимент, я думаю, удался. Но ты извини... Накладка вышла. В драку там ввязался твой Толик, ну, и огрёб слегка... Хотя это тоже хорошо. Молодец, не забоялся. А что по моське получил — опять же урок.

— Зачем? Зачем так-то?! — выкрикнул я.

— Видит Бог, я не виноват. Я ж ничего не подстраивал! Он же глупый ещё! Заступиться там, в камере, за кого-то решил... — Шаров зло усмехнулся. — Там, где преступники, там обязательно подставят, сдадут. Там нет чести и быть не может! Это проверено веками!.. Ты, Валя, объясни ему это. По-отцовски. Я тоже ему это объясню. Но я мент. А у нас к ментам относятся, как к ментам!

...Толик сидел на скамейке, невдалеке от полицейского отдела. Нижняя губа у него была разбита, припухлость видна была и под глазом — намечался фингал. Толик косо смотрел на Шарова и стыдился меня. Он что-то шепнул и отвернул от нас лицо, мне показалось, он заплакал.

Сердце у меня оборвалось. Я обнял сына, почувствовал мелкую дрожь в его теле.

— Пойдём, Толик, всё кончено! — я обернулся к Шарову: — Я твой должник.

— Я не против, — сказал Шаров.

Деньги за свои услуги он брать не стеснялся. Но исключительно от людей проверенных. “Проверенных”? Почему-то вспомнился чинуша Галковский, который теперь давал показания. Все вокруг “проверенные”, пока за задницу не взяли.

Из машины я позвонил Анне, успокоил: сын со мной и побудет у меня. Словом, всё хорошо, что хорошо кончается.

По дороге Толик молчал. Он стеснялся своего избитого вида, припрятывал лицо за воротником куртки. Я тоже никак не мог начать разговор. А надо было начинать этот разговор! Надо было говорить хотя бы словами циника Шарова, мне казалось, что это он подстроил драку в камере, чтобы сыну была проучка. Но я мог и ошибаться. Толику я пока вдалбливал шаровские выкладки мысленно: там, где шпана, бандиты, нет нормальных понятий, есть жестокие животные понятия и вечное правило: сегодня сдохнешь ты, я — завтра! Но Толик, словно бы услышав мои распалённые мысли, сказал с досадой:

— Надо было мне в армию идти. Я теперь очень жалею об этом.

Я ничего не ответил, только мысленно удивился: ведь это мы с Анной, *сберегли* сына от армии, а теперь — вот, получите...

— Отвези меня домой, — попросил Толик.

— Ко мне заедем. Поешь, успокоишься. Расскажешь про таблетки.

— Зачем ты их взял? Мне за них башку открутят.

— Не открутят... Эти мальчики с таблетками сейчас под колпаком.

— Я не хочу никого подставлять! К тому же Макс мой друг.

— Я с ним сам поговорю! Я и мать не хотим ездить к тебе на зону с передачами...

Толик промолчал.

Мы приехали ко мне домой. Я усадил сына за стол. Надо было с Толиком как-то понежнее, чтобы он всё рассказал сам. Я чувствовал, что сын ступил в дерьмо, но он не безнадёжен: он простой парень, в меру избалованный матерью и мной, недосмотренный в чём-то, но он не дурак, не негодяй, не преступник. И не трус, если полез в драку...

Я налил Толику вина, пододвинул поближе тарелку с едой: колбаса, сыр, разогретая пицца. Толик наверняка голоден после “тюремы”... Я тяжело вздохнул: надо же, до чего докатилось.

— Толик, — сказал я охрипшим от подкатившей к горлу горечи голодом, — мне нужно знать правду. Как ты вляпался в эту таблеточную историю? “Жигулёнок” этот, вождение без прав... Запомни: в тюрьме места всем хватит!.. Выпей сперва, чтобы снять стресс. Драка ещё какая-то дурацкая.

— Нормальная драка. Я в долгу не остался, — буркнул Толик. Взял стакан с вином и выпил залпом. — Если меня теперь в армию призовут, я прятаться не буду...

— Сейчас ты на дневном отделении института. Студентов не берут! — сказал я.

— Налей мне ещё вина... А у тебя есть конфеты или что-нибудь сладкое?

Я налил. Он опять выпил. И опять залпом целый стакан. Нет, это не похоже на наслаждение хорошими напитками, он что-то хочет притушить в себе, подумал я, наблюдая за сыном.

— Меня выгнали из института, — сказал он тихо, с винной горечью в голосе.

— Давно?

— Уже больше месяца... Мать не знает.

— За что?

— Неуспеваемость, пропуски. Контрольные не сданы... Хвосты ещё с зимней сессии... — он поднял на меня глаза. — Я не хочу изучать свойства металлов... И быть технологом металлургических производств.

— Но у нас не было выбора. Я мог устроить тебя только на эту специальность.

— Когда-то я хотел стать лётчиком гражданской авиации. Даже в аэроклуб записался. Помнишь?.. Надо было всё-таки пробовать в лётное училище. Хоть что-то было бы в жизни. Цель какая-то.

— У каждого человека есть мечты о профессии. Я в своё время хотел стать архитектором. В художественную студию ходил. Античные головы рисовал, изучал перспективы, оттенки... Рисовал везде, где придётся, даже в армии на учениях... А потом... А потом в институте выучился на строителя! Есть шанс — воспользуйся. Нет шанса — живи с тем, что есть. Нос не вешай!

Толик заметно опьянел, взгляд его туманился. Разбитое лицо казалось страшным и печальным.

— Ты поспи, Толик. На диване... Пледом укройся.

Когда он лёг на диван, укрылся пледом, горло у меня опять перехватило от слёз. Кроме отеческой жалости к сыну, было и раскаяние: ведь это мы с Анной пропустили его надежду, его мечту. Даже напротив, задушили эту мечту на корню.

Толик почти мгновенно уснул.

Я смотрел на спящего сына, с избитым лицом, съёжившегося под пледом. Мне было его жалко, очень жалко, и все его глупости, всё его юношеское раздолбайство — езда без прав, таблеточки, пропуски занятий — казались какой-то глупой мелочью по сравнению с самой жизнью, единожды дающей, всем только один раз, и не важно, кто ты: рохля, труженик, праведник или грешник... Ты на этой земле всего один раз!!!

Вот Рита, дочка, она всегда казалась более цельной, волевой, даже хваткой, а Толик — человеком ведомым; отпустить его из гнезда — не то, что Риту, — было страшно, да и Анне не хотелось совсем оставаться одной. Кто виноват? Стоп! Виноватых искать не будем!

Мозг работал чётко и целенаправленно.

В институте я договорюсь. Толику сделают “академку”, как-никак проректором работает мой давний приятель Игорь. К тому же мы с ним должны свидеться сегодня вечером в бане (мужские банные процедуры у нас раз в неделю обязательны). А чтобы мозги проветрить Толику, отправлю-ка я его в коммуны к Тимофею Ивановичу, вроде как в стройотряд; там и люди хорошие, и работы полно. Ещё к Толику в шефы Дашу надо бы подключить.

Даша оказалась легка на помине: вскоре позвонила, спросила, когда приехать на генеральную уборку?

— Сейчас и приезжай!

Даша привезла сумку, в которой были халат, перчатки, какие-то тряпки, порошки.

— Всё, что можно вымыть, вымой. Окна, двери... Всё, что можно вычистить, вычисти. Если что-то постираешь, не буду против. Стиральная машина включается просто. Там вон ещё гора неглаженного белья, — рассказывал и указывал я Даше.

— Э-э, мне это на несколько дней тогда.

— У меня есть гостевая комната, — усмехнулся я. — А это мой сын, познакомься. Он, правда, с тяжёлой процедуры...

Толик смутился. Ещё бы, подглазье припухло, губа — тоже.

— Даша у нас профессиональная горничная. Студентка, труженица, — представил я.

Она тоже смутилась, шепнула:

— Привет-привет... Я окна сперва вымою. В комнатах наверху.

Мы остались на кухне вдвоём. Я хотел предложить Толику поехать домой “к маме”, но почувствовал, что он уже не хочет “к маме”; похоже,

Даша его чем-то заинтересовала, и он хотел бы познакомиться с ней поближе. Что ж, дадим время.

— Я сейчас отъеду на часок. Прораб просил на объект заскочить... А ты помоги девушке, может, что-то передвинуть надо. Ведро воды принести... — сказал я.

— А она что, правда, у тебя в гостевой комнате ночевать будет?

Я только усмехнулся на это. Сын меня к Даше, похоже, ревнует. Значит, она тронула его сердце с первого взгляда. Это хорошо, это очень хорошо. Женщина способна, хотя бы на время, отнять мозги у мужчины. Учёные утверждают, что мужчина думает о женщинах каждые пятнадцать минут. Толику такое общение — только в плюс. К тому же о коммуне мне подсказала сама Даша. Она и его просветит. Правда, Толик кислотовато выглядит. Впрочем, с синяком на морде перед женщиной не будешь смотреться, как Бельмондо.

Уходя, я крикнул из прихожей Даше:

— Толик тебя чаем напоит!

12

На другой день ко мне снова приехала Даша: приборки ещё хватало, а я тем часом отправился на встречу с Максом. Поехал не на своей машине, а на разбитых жёлтых “жигулях”. Полиция даже забирать их не стала. Шаров сказал: на кой они, если даже заявления нет от владельца, пусть сам ищет и забирает свою рухлядь... А мне этот “жигулёнок” нужен был, чтобы передать его вместе с таблетками Максy и отделаться от всего разом.

Едучи на “жигулёнке”, я удивлялся: ведь когда-то такая машина была мечтой! Она комфортна (сам на такую нарадоваться не мог, когда купил), хотя отличалась от моего нынешнего БМВ, как паровоз от космического корабля... “В чём же провал русских? — думал я. — Нет технологичности, нет расторопности, вечное отставание в темпах развития от цивилизованного мира. Но есть же Менделеев, Лобачевский, братья Черепановы, Попов, даже телевидение избобрёл русского ума человек — Зворыкин. Или всё кроется не в техническом смысле, а в русской философии?”

Во всё, в каждой клетке русского мира, в каждой клетке русской земли, русского воздуха есть некая философия бытия, смысла жизни. И эта философия противостоит прогрессу, вернее прогресс для неё не есть погоня за комфортом бытия. Да и что есть прогресс? Сто новых функций в новом смартфоне, который нужно менять каждый год? Нет, речь, конечно, не идёт об элементарной сытости и уютности жизни, речь идёт именно о ста новых функциях в новом смартфоне. Речь идёт об излишествах, о мишуре... Одинаково можно утолить жажду из хрустального бокала и из гранёного стакана. Погоня за прогрессом лишь изнашивает нацию, отнимает у неё что-то очень важное, может быть, самое важное... Ведь высшая мудрость в созерцании, покое и гармонии...”

Я вздохнул, поймал себя на мысли: “Точно — старею, раньше такие мысли ко мне не закрадывались. А нынче стал размышлять о созерцании, а не о действии...” Глубоко вздохнул. “Нет-нет! Мы ещё повоюем! Ещё всё впереди: и встречи, и любовь, и, возможно, дети. Надо перед отпуском шмоток себе подкушить, приодеться. Если мужчина не думает о новых сорочках и галстуках, значит, не думает о женщинах, значит, теряет либидо... А ведь весна, однако, за окном. Весна!”

Я припарковал машину у самого склона, на обочине с небольшим покатым. Это была окраина города, где находился строительный рынок. Я уже придумал план, как избавиться от наркотиков, которые лежали сейчас в бардачке. Сделать это надо при свидетелях, то есть при Максе.

Макс приехал на стареньком “мерседесе”, за рулём был не он, его подвезли. Машина остановилась чуть поодаль, и Макс — я вспомнил, что видел этого парня как-то раз в компании с Толиком — пошагал к “жигулёнку”, где сидел я. Он подошёл к машине, подозрительно заглянул в салон, увидел, что Толика там нет.

— Садись, поговорим, — сказал я Максу в открытое окно. — Толик не смог приехать. Я за него.

Макс огляделся по сторонам и, похоже, кому-то кивнул в машине, в “мерседесе”.

— А вы кто такой? — ершисто спросил Макс.

Я смерил его взглядом: самоуверенный наглец, серьга в ухе, значит, ещё и рассчитывает на некую экстравагантность, наверняка, считает себя умнее других. Ничего... Это поправимо.

— Я отец Толика.

— Он бы еще мамку послал, — съязвил Макс.

— Я думаю, ты тоже скоро о мамке вспомнишь. Толик посидел в КПЗ. Теперь твоя очередь.

— Вы меня не пугайте! Не о чем нам говорить...

Я выскочил из машины, схватил Макса за руку, выпалил ему прямо в лицо, грубо и властно:

— Ты, щенок, сейчас мне всё расскажешь! Или сядешь лет на пять за наркоту! Я позабочусь!

— Отвали! — резко вырвался Макс.

Я не держал его, даже оттолкнул от себя, когда он вырывался.

— Ах, так? Ну, и ты вали! Уже к вечеру тебя объявят в розыск... И начнёшь ты славное путешествие по России — в бегах... За наркоту сроки большие. Вали, голубчик!

Он не уходил.

— Чего вам нужно от Толика? — резко выкрикнул я.

— Он денег нам должен, — сказал Макс, понимая, что разговор неизбежен.

— Сколько и за что?

— Он дурь брал на реализацию. Деньги не вернул...

— Это ты его втянул в грязное дело, а теперь подставил? Друг называется...

— Я тут ни при чём. Он не маленький мальчик... Он деньги не мне должен.

— Тем, кто сидит в машине? — кивнул я на “мерседес”.

— В общем, да. Но не совсем... Не этот главный, другие есть... — Макс говорил с неким вызовом и обидой, но мне хотелось его разговорить, получше понять, друг он Толику или просто так, попутчик. Он был явно ещё не совсем испорчен, а стало быть, управляем и вмняем... Но он чего-то боялся.

— Пойдём к твоему главному, — сказал я и пошагал к “мерседесу”. Макс сперва растерялся, а потом как-то опасно пошагал за мной.

Перед тем, как уйти от “жигулёнка”, я пяткой незаметно выбил камень из-под переднего колеса.

В “мерседесе” сидел нерусский, кто он по национальности — я не понял, откуда-то с Азии.

— Послушай меня! — сказал я резко. — Ты продаёшь туфту! Покупатель обижен. Вот тебе результат экспертизы. А ещё вот визитка подполковника Шарова. Если будут вопросы, позвони ему! — Я сунул ему лист с экспертным заключением о “таблетках”, где указывалось, что они наполовину состоят из глюкозы. — А ещё забери свою развалуху. Вот ключи! В бардачке лежат твои туфтовые таблетки! — Я бросил ему на сиденье ключи от “жигулёнка”.

Нерусский хотел что-то возразить, возможно, он хотел всё как-то сгладить или, наоборот, накатить на меня, но ему помешали...

— Э-э! Чего это? — вдруг закричал Макс. — Машина! Э-э! Смотрите!

— Ух ты! — выкрикнул я. — С ручника, наверно, ушла!

Мы кинулись с Максом к машине, но было уже поздно — она катилась под уклон в овраг, и спасти её уже не мог никто. Нерусский выбрался из “мерседеса”, огляделся и, видать, почувяв какую-то опасность или подвох, снова вскочил в машину, мотор взревел, и “мерседес” с пылью из-под колёс сорвался с места.

Наша бедотня с Максом и возгласы были тщетны. “Жигулёнок” уже надёжно выкатился на склон и, переваливаясь на кочках и на камнях, набирал скорость, летел вниз. Спасать машинёшку, рискуя собой, было поздно и нелепо.

Макс, по-детски разинув рот, смотрел, как машина катится по склону, всё больше и больше набирая убийственную скорость. Вот она подпрыгнула на кочке накренилась, перевернулась сперва на бок, потом ещё боковой удар о камень — и пошла кувыркком. Наконец, врезалась в большой валун и затихла. Язык пламени, вырвался из разбитого окна, а потом — из-под капота.

— Откуда я знал, что у неё ручник не держит. Ездите на всяком дерьме! — бормотал я.

— На скорость надо было поставить... — бормотал в ответ Макс.

— Надо было! — вскричал я для острастки.

Макс ринулся вперёд, вниз, но я ухватил его за рукав:

— Ты чего, парень? Сбрэндил? А если взрыв... Без башки хочешь остаться?

Пламя постепенно охватило машину, чёрный дым потёк из окон, из щелей, из распахнутых дверей. “Вот и отлично! — мысленно подытожил я. — Что и требовалось показать...”

Я достал мобильный телефон, набрал номер:

— Алё! Пожарная! Тут на втором километре от развилки машина под откос ушла. Стояла пустая... Ручник, видно, отказал. Хозяина нигде не видно. Может, он на базу ушёл строительную. Или в забегаловку... Машина ушла с откоса и загорелась. Людей там не было.

— Сюда менты приедут, — испуганно сказал Макс.

— Тем лучше. Всё сгорит к их приезду... Нет машины, нет проблемы. Нет таблеток, нет головной боли...

— А деньги?

Я ответил на его вопрос с запозданием, уже тогда, когда мы зашли в небольшое кафе на другой стороне дороги. Чтобы всё загладить, решил выпить с Максом пива, охладить пыл, успокоить парня.

— Деньги они не спросят... Они торговали подделкой. Как бы с них ещё деньги не потребовали... Вот и тебе копия экспертизы на эту дрянь. Так что твоя клиентура, мол, требует с них неустойку. Лучшая защита — нападение. Но дело в другом: вы все на крючке... Так что...

Тут Макс изменился в лице, потемнел, озверел:

— Так я и знал, — сквозь зубы процедил он. — Сыночка своего отмазали, выгородили, а я подыхай! Вон у вас — деньги, связи и прочее, а у меня отец алкаш. Мать работу третий месяц найти не может... С меня-то они не слезут.

— Слезут! Если сам этого захочешь... А этого ты захочешь! Ты же себя дураком не считаешь? Не собираешься же ты всю жизнь поганые таблетки своим друзьям продавать?

Макс молчал. Мне было жаль его. Но читать ему нотации я не собирался. Если умный, всё поймёт и сам. Если не умный, мои поучения ему не помогут. Но это я должен был ему сказать:

— Твои нерусские товарищи висят на нитке. И ты висишь на нитке. С ними больше никаких связей! Иначе никто тебе не поможет. К тому же они по крови чужие... Хотя и говорят, что люди делятся по человеческим качествам, но мне кажется, все делятся по главному признаку — по национальности! Назови мне свою национальность — и я пойму, кто ты мне: друг, враг или временный попутчик...

Мы оба смотрели в окно, где из оврага поднимался чёрный дым от горящих покрышек — догорал советский автопром.

Пожарные приехали. Но никто не собирался тушить укатившуюся по крутому склону в овраг машину. Следом приехала и полицейская машина с весело мигающими огоньками на крыше.

— Это теперь их проблемы. Впрочем, нет никаких проблем.

Дыму от сгоревшей машины становилось всё меньше.

Макс выпил пиво, обтёр рукавом губы. Сказал без страха, но с обреченностью:

— Они мстить будут.

— Мстить они не будут. И вообще. Это заблуждение... В 99 процентов случаев никто не мстит. Что-то в психологии человека есть такое, лень, наверное, что он прощает всё даже самому злостному врагу... — Я сказал Макс-у это для успокоения. Но потом попробовал растолковать ему на личном примере. — Меня в школе один наглец ударил по лицу. Он был старше меня и сильнее. Из местных хулиганов. Он ударил меня по лицу — я поклялся отомстить ему. Поклялся перед своими друзьями. И не отомстил... Не знаю, жив он или нет. Может, уже сдох где-нибудь, а может, процветает, но я не отомстил. А клялся, что отомщу, и не отомстил. Помыслы человека шлифует жизнь. А она изменчива. Я, конечно, помню морду его наглою, всё помню. Даже как он обзывался. Даже фамилию помню.

— А как фамилия?

— Козьявкин.

Макс усмехнулся. Он немного потеплел, а может, чуть опьянел от пива. Пиво было свежее, в красивых высоких бокалах, плотное и вкусное. С чипсами.

— Будешь ещё? — спросил я у Макса.

— Давайте.

Это было хорошо. Мы с ним немножко сдружились. Я признавался ему и дальше по поводу мести:

— А Козьякина я помнил всегда. Но почему-то не хотел выполнять свою клятву. Можно было бы найти его, начистить ему рыло. Но что-то сдерживало. И не страх, а какая-то внутренняя лень, уход из того времени, из тех обид... Правда, меня и сейчас немного берёт чувство досады, что не отомстил. Но реально отомстить уже не смогу.

— Почему?

— Потому что психология... Что-то в человеке есть такое, от чего смиряются и с обманом, и с подлостью других... Так что не бойсь, Макс. Мстителей на земле единицы. Мельтешить только перед ними не стоит. Не думай о грустном!

Домой я возвращался на автобусе. С Максом мы расстались.

Я сидел у окна и смотрел на весну... Светило солнце. Некоторые деревья уже чуть-чуть опушились мелкой светлой листвой. И в воздухе было что-то разлито из детства — и этот жёлтый свет, и этот запах.

Мне было сейчас очень-очень хорошо.

Да, хорошо!

Как редко бывает такое здоровое чувство, когда тебе хорошо!

Я даже часто боялся этого состояния, когда “хорошо”, словно суеверно предполагал и поджидал, что жизнь готовит мне за это “хорошо” что-то очень плохое. Наверное, природа человека, природа его мышления и инстинктов именно такова: за что-то хорошее должна быть немалая оплата. Но впоследствии я просто редко погружался в это блаженное состояние “хорошо”. И это состояние нельзя сравнить с послебанной нирваной, или с кайфом, или с состоянием оргазма. “Хорошо” связано с чем-то иным, с духовным чем-то. В детстве это состояние приходило ко мне часто, особенно часто — с пробуждением, с лучами солнца, что-то играло в груди радостное, светлое и было “хорошо”; в юности это чувство и состояние приходило обычно в предпраздничные дни, перед Новым годом, или — особенно — по весне, когда бежали ручьи, искрились тающие сосульки, когда что-то бурлило в крови; позднее, в годы студенчества оно приходило всё реже и реже, в период какой-то легкомысленной влюблённости, а потом ещё всё реже и реже. Это состояние “хорошо” приходило нечаянно, приходило ненадолго, и главное — я его побаивался; радовался, разумеется, но и побаивался, словно впереди похмелье или какая-то расплата за это недолговечное, зыбкое счастье.

Автобус приехал на нужную остановку слишком быстро. А так хотелось насладиться этим “хорошо” и ехать, ехать, ехать... Впрочем, автобус тут ни

при чём. Я поймал себя на мысли, что это “хорошо”, это замечательное лёгкое настроение, это скоротечное счастье свободы и отдохновения разрушается не внешними обстоятельствами, а внутренним состоянием. Может, слишком несовершенно человек, если способен волей мысли вогнать себя в уныние?

...Был у меня дед по матери, Иван Кузьмич, ветеран войны, человек трудолюбивый, истый праведник, а отчего-то всегда грустный. Бывал он часто молчалив. За целый день слова из него не вытащить, бывал он очень раздражителен, зол, а иногда начинал говорить “за жизнь” и открывался со стороны неожиданной; во всём он видел смысл и значение: если мы пришли в этот мир, то обязаны жить... и каждый выполнять свои функции: пахарь — пахать, вор — воровать, политик — врать, учитель — учить... И быть не может никаких сомнений, что крутом несправедливость, — всё справедливо! — примерно так рассуждал он в эти редкие минуты неожиданных откровений, когда он был удовлетворён жизнью, удовлетворён полностью, приняв её такой, какая она была, а все искажения жизни относил на собственное несовершенство.

Однажды дед признался мне — рассказал о “своей” войне и о своей судьбе. Как ветеран, он носил орденские планки на пиджаке. Но награды были в основном юбилейные. Я не лез с расспросами. Он сам высказался, странно и резко.

— Вот всё время, Валька, казалось, что жизнь меня как-то обошла. Богатства не нажил. Должностей не получил... А сейчас думаю: на что мне богатство? Да и что есть богатство?.. “Победа” у меня старенькая была, а у соседа Николы — велосипед. Он на велосипеде едет, рот до ушей, а у меня морда кислая, хоть я и в “Победе”... Бригадиром был, а тоже всё недоволен. Мечтал в председатели выбиться... А было у нас двое председателей. Один в тюрьму угодил за растрату, там и окочился, другой от инфаркта помер в сорок восемь лет... А война, Валька. Ох, уж как мне эта война далась! — Дед Иван Кузьмич вздыхал, вертел в руках трубку: курить к той поре он не курил, но трубку курительную иной раз грыз... — Хотелось мне повоювать, Валька. Брат старший был на войне. Отец погиб на войне. За отца отомстить надо было. А по годам я не подходил. Молод. Но вот в сорок четвёртом меня всё-таки взяли. Ну, думаю, вот и сбылась мечта, теперь-то повоюем. За батьку им отомщу, гадам. А уж если голову придётся сложить, так тому и быть... Прибыл я в полк. Там в штабе попался на глаза замполка по тылу. Спрашивает меня: как учился? Отвечаю: отличником был. Вот и хорошо, хлопец. Пойдёшь ко мне на склад, кладовщиком. Мне грамотный паренёк нужен... Три месяца я на складе работал. А войне уж и конец пришёл. Вот такой я ветеран войны оказался. Невезучий... — Грыз мой Иван Кузьмич трубку, желваки играли на скулах. — А ведь полк-то наш в такую передрагу попал. От него и одного целого батальона не осталось. Выходит, я везучим солдатом оказался. На складе-то... Только порадоваться везучести этой не получается. Вот и всякий человек... Не может понять, где и в чём ему повезло. Сколь людей, таких, как я, ходит на жизнь в обиде! Ты, Валька, так не живи! Есть хлеб, есть вода, есть крыша над головой, есть солнце в мирном небе — вот в чём главное счастье!

Лукавил ли дед? Ведь всё равно хотелось ему быть героем войны. Но может, и не лукавил. Попал бы он в тот полковой бой, убили бы. Дали бы dedu посмертно орден. И всё! И меня не было бы, не родился бы я вовсе.

...Хоть и ушло, откатилось куда-то, растворилось в весеннем воздухе это магическое состояние “хорошо”, но думы о высоком, о чём-то самом важном в мире не проходили.

“Отчего страдает русский человек? От приближения смерти? Нет. Ведь и молодым людям живётся беспокойно, их тоже что-то угнетает: тревога, одиночество... Может, традиции у нас мрачные, власть дурная, религия, настроенная на страдание, оттого так грустно и задумчиво испокон веков на Руси, и мало веселья, а ежели и веселье, так связано оно с выпивкой, а после выпивки, как водится, голова болит и порой от стыда хочется повеситься...”

А всё, наверное, оттого, что рано умирает мечта, остаются только надежды... Надежда заработать, чего-то купить, куда-то устроить детей... А мечта, высокая, вселенская, уходит от человека навсегда (ведь я же архитектором хотел стать, настоящим архитектором! — и где она, эта мечта?!), может, тогда душу начинает снедать тоска, смурь, а если ещё и в личной жизни чего-то не состоялось, то и вовсе хочется выть от тоски.

Дома я застал Дашу за разглядыванием рисунков. Это были мои графические работы. Юношеские, увлечённые, живые. Тогда я рисовал запоем, бегал на все художественные выставки.

— На антресоли пыль протирала. А там папка. Заглянула... Да вы ещё и художник!

— Я мечтал архитектором стать. Рисовал, экспериментировал, искал свою манеру. Но потом оказался на факультете “промышленное и гражданское строительство”, и художественные мечты погасли.

— Жалко, — шепнула Даша. — Вдруг стали бы великим художником.

— Нет, не стал бы. Для великого художника одержимость нужна. Умение переступить через всё... Я трусоват. Воспитан по-другому. Для меня важнее семья, уют, сытость. Успех какой-никакой... А пополнить ряды художников-неудачников...

— А что же вы сейчас один живёте? Где ваша вторая половинка?

— Не нашлась пока, — ответил я уклончиво. Но тут меня слегка понесло. — Эх, девушки, девушки! Учит вас надо семейной жизни с детства. Если ты замуж за мужика вышла, ты с ним живи! Это главное в супружеской жизни! Женщин в старину и силой замуж выдавали, и они жили. А нынче и по любви выходят, а жизни нет. А почему?

— А почему? — весело подхватила Даша.

— Потому что предназначение своё молодые девушки нынче не знают. — Я говорил полшутя, но хотелось бы, чтобы эта студентка Даша восприняла сказанное вполне серьёзно. — Замужняя женщина должна с мужем неукоснительно спать, готовить ему еду, следить за домом...

— И только? — хмыкнула Даша.

— Нет, не только. Но это “не только” не должно быть главным!.. Вот купила ты, к примеру, авторучку. А она не пишет. Или попишет, попишет, да потом писать перестанет, потом опять попишет и опять каюк. Ты разозлишься и бросишь. Любая вещь должна служить тому, к чему она призвана. Так и люди. Так и жена!

Я говорил напористо, с разгоревшимся энтузиазмом, Даша, похоже, уже и не собиралась возражать моему напору.

— И ещё запомни, Дашенька! Любовь там или нелюбовь, но ни в коем случае не надо выходить замуж за того, с кем у тебя споры, ссоры, выяснение отношений, ревность дурацкая... Не будет миру в семейной жизни. Выходи за того, с кем лад есть с самого начала. И во всём мужу подчиняйся! Детей рожай, не ленись... Тогда и семейное счастье придёт.

— Вот за вас я бы замуж вышла сразу. Не раздумывая. Хоть завтра. Хоть сегодня. Хоть сейчас... — вдруг сказала Даша. Она смотрела на меня прямо, серьёзно. Она в открытую предлагала мне руку и сердце. И своё молодое тело...

Словно от вина, голову мою слегка вскружило. Чередой, быстрой цепью, словно в кино, побежали кадры нашей с Дашей любви, моё жениховство, её невестино белое платье, младенец в люльке наш, общий, ещё что-то обрывочно-загадочно-приятное. Словно в омут. Но главное — был горячий соблазн: обнять её, молодую, податливую... Что-то взорвалось в сознании, жизнь накренилась на один бок, и вся моя будущая жизнь с Дашей пронеслась одним махом, одним кадром, одной картинкой... Но я вовремя выправил крен, не прикоснулся к Даше. Стоп! Глупости! Это соблазн, западня!

— Чем же я заслужил такое расположение, ведь мы и видимся всего третий раз?

— За вами я была бы, как за каменной стеной. Не хочу путь матери проходить. Она билась за свой угол, за еду, за одежду, нас всех на ноги под-

нималась. А потом отец ещё и к другой ушёл... Мучилась, мучилась всю жизнь. — Она опять прямо, открыто и, казалось, очень рационально и честно, посмотрела мне в глаза. — А вы обеспеченный. О детях заботитесь. Всё ещё сопли Толику вытираете... Я бы тоже вам детей нарожала... И ревновать бы не стала. Глупости это — ревновать кого-то... Я ведь вам подожду?

— А как же любовь?

— Любовь пришла бы. Она ведь, как ветер: то налетит, то улетит. Я думаю, что вас бы я полюбила. Да и вы бы обо мне заботились. Вот это и есть любовь. А повздыхать при луне — это ещё не любовь. Мир сейчас расчётливый. Все головой живут. Только дураки да нищие какие-нибудь сердцем живут. Потому что у них денег нет... Так что, если невеста вам потребуется, знайте — я готова. Всё по-честному! — подчеркнула в довершение Даша.

— Ты это брось, девочка! — мягко, но чётко пристопорил я её. — Не забивай голову. Это только кажется, что мужик в летах да с деньгами — находка для личной жизни. Нет... Мы к пятидесяти уже все ущербные... Нет уже той силы, чтобы что-то делить сокровенное. Так, разве что жить в достатке. Как мой сосед, который на днях застрелился... — Я прервался, вспомнил не соседа, а его благоверную, которая в открытую хотела переспать со мной, когда ещё и трёх дней не прошло, как она овдовела. — Есть у мужиков такое обманное мнение: мол, есть женщины для жизни, их в жёны надо брать, а есть, мол, женщины для любви, для взрыва... Так же и женщины заблуждаются... Ты, Даша, только за деньгами не гонись. Сегодня он богат, а завтра — нищ. Или наоборот бывает... Тебе надо свою жизнь прожить. Острую, красивую. Трудную, быть может. Но с любовью, со счастьем настоящим, с болью душевной... Ты на деревяшку-то не похожа.

— Я ни в кого больше не влюблюсь. И если бы вышла за вас замуж, ни на кого бы не посмотрела! — отчеканила Даша.

— Ну, насчёт этого не зарекайся!.. А видать, где-то ты шибко обожглась.

Лицо её вдруг стало суровым, холодным и даже несимпатичным, как у тех, кто задумал мстить...

— У меня был парень. Его в армию забрали. А он оттуда не вернулся.

Я испуганно взглянул на Дашу.

— Нет-нет. Не убили. Он там себе подругу нашёл. Из каких-то вольнонаёмных. Там и остался, в армии, контрактником... А я его ждала. Письма писала. Дома лежу на сеновале, на звёзды смотрю и ему в любви объясняюсь. А он там на другую звезду смотрел.

— Может, это и хорошо. Закалилась. Судьба привередлива. Но обижаться на неё не стоит.

Даша вздохнула, принялась складывать мои рисунки в папку, потом стала протирать полки, замкнулась.

— Даша, ты поедешь в коммуны, там будет Толик. Ты ему привези гостинцев, сладкого чего-нибудь. Он пирожные любит, мороженое. Сам он, может, будет стесняться покупать, а с тобой за компанию... Я тебе денег оставлю.

— Нет проблем, — без эмоций ответила Даша.

...Она сказала, что не хочет идти путём своей матери. И ради другой жизни способна пожертвовать и любовью, и ещё чем-то очень важным — душу продать, наверное. Я понимал Дашу. Понимал её отлично. Я сам прожил большую часть жизни под прессом: всегда не хватало денег. Всегда в голове роился страх: вдруг останешься без работы, не у дел; вдруг заболеешь — на что покупать лекарства? Как прокормить семью? Как дать образование детям? Всё — от зарплаты до зарплаты, в обрез, каждая копейка... Ах, чёрт возьми! Чтобы освободиться от этого, пойдёшь на любой компромисс, начнёшь врать, мелко мошенничать, продавать себя... Ведь Даша себя впрямую продавала мне. И сказала: “Всё по-честному!” — хотя наверняка не разлюбила того парня, которого ждала из армии.

Что-то ледяное и очень тревожное хлынуло в грудь. Ведь дочка, моя Рита, собирается замуж за какого-то великовозрастного режиссёра. Скоро я

увиджу дочь, всё пойму. Нет, не всё. У каждого своя правда, свой резон. Тут же позвонил Рите в Москву. Сказал, что скоро приеду. “Ура!” — вскрикнула она от радости.

13

Рита в нужный час в Москве на вокзале меня не встретила. Накануне я опять созвонился с дочерью. Она уверяла, что встретит у поезда, уточняла время прибытия, вагон. Я погулял по пустынному перрону (все приехавшие разошлись), потом позвонил по мобильному Рите и услышал металлический ответ: “Телефон абонента выключен...” Вдруг она в метро, едет, спешит, опаздывает. По перрону я гулял ещё четверть часа. Рита не появилась.

Я не особо расстроился, но, конечно, расстроился и пошагал к камере хранения, чтобы оставить чемодан и уже без груза ринуться в Москву — разыскивать бесшабашную дочь. Почему она не приехала? Почему не отзывается на звонки? В предыдущем разговоре она что-то упомянула о репетиции, хотела отпроситься. Вдруг не удалось...

Полуденное солнце ярко светило, было тепло, но не жарко, даже как-то уютно, зелено и прибрано. Чистенько кругом в районе трёх вокзалов. Никаких бомжей и разных тёмных типов, которые продавали ещё несколько лет назад тут всё и вели скупку всего. Да и машин не так уж много. Предпраздничные дни перед маем — многие отправились на дачи. Мне захотелось пройтись по Москве. Я давно здесь не был отпусником.

Не спеша пошагал к Садовому кольцу через проспект академика Сахарова. Направился туда не случайно. Я услышал какие-то митинговые голоса, увидел издали толпу, милицейский кордон. Это обилие людей и привлекло. В нашем заштатном Гурьянске митингов и людских сборищ на площадях не бывает, а здесь — пруд пруди. Простое любопытство вело меня к людскому скоплению с плакатами, флагами, растяжками, транспарантами.

Среди флагов российских мельтешили жёлто-голубые флаги Украины. Всё понятно: нынче у всех на устах события в Незалежной, а главное — присоединение Крыма. Ещё в поезде мне все уши соседи по купе прожужжали про Крым, но я не откликался на эти разговоры; радовался, что захватил наушники, слушал музыку, а политика меня не интересовала и, даст Бог, не заинтересует впредь.

Доброжелательно и даже несколько благодушно, не забывая голову речами и тезисами, которые вешали со сцены, я решил пройти сквозь не очень плотную, рыхловатую толпу демонстрантов. Даже сам не знаю — зачем. То же, наверное, из любопытства. Сперва меня пропустили через рамку металлоискателя, а после я приблизился к сцене и простым, безучастным зевакой смотрел на ораторов, которые неровной шеренгой стояли в углублении сцены. Впереди у микрофона выступал один из них. Но говорил он плохо, коряво. Его, наверное, хорошо понимали посвящённые, а я почти ничего и не понимал, к кому и с какими фактами он апеллирует.

— Вся мировая общественность возмущена! Европа содрогнулась. Весь мировой порядок был подорван агрессией России и этими... как их там... зелёными человечками...

Почему я не интересовался политикой и даже не хотел знать о ней? Я раз и навсегда принял для себя некий постулат: я не вправе, не в силах изменить что-либо в политике и лезть туда, спорить, рядить о ней — это только трата времени; такое хобби мне было неинтересно.

В истории страны, общества, в политике, в конце концов, всё решают политики высшего звена, правители. Так устроен весь мир, так устроен был СССР, а теперь — Россия. Решает тот, кто принимает решения! На своём уровне я принимал решения о подрядах, о конструктивных проектах, о закупках материалов, о кадровых назначениях; я принимал эти решения каждый день, и немало людей зависело от принятия этих ничем не знаменательных решений. Но история страны складывалась из других решений и зависела от воли других деятелей; действия уличной толпы — это ещё не воля

властителей. Именно воля верхних жрецов прокладывает путь истории. Мое мнение тут никакой роли не играет. Так я думал раньше, не перестал я так думать теперь. И никогда не лез в политические дискуссии, споры, даже экономические выверты воспринимал как погодные фатальные явления. Мне было так проще жить. И всё! Точка!

Сейчас я стоял со снисходительной полуулыбкой невдалеке от сцены, с которой выражали ораторы то ли солидарность с жителями оскопленной Украины, то ли негодовали по поводу российских властей, то ли одобряли эти действия. Нет, всё же не одобряли. Я вслушался в речь говорившего в микрофон, разобрал:

— Аннексия Крыма — шаг жуткий. Это шаг безголовый, авантюрный. Россия, приобретая полуостров Крым, теряет свой материк!

— Как верно сказано! — услышал я восхищенный женский голос и обернулся: полноватая, рыхловатая женщина, в очках, в забальзаковском возрасте улыбнулась мне, я кивнул ей, как бы здороваясь и соглашаясь с её восхищением.

Восторг по поводу фразы выразили и с других сторон. Но восторг был негромок, краток, оратор был, видно, известен, красноречив, и сыпал умностями дальше:

— Да, нас здесь собралось не так много, как хотелось бы. Но разве Андрей Дмитриевич Сахаров, на проспекте которого проходит наш митинг, над которым всячески глумилась власть, не был борцом-одиночкой? Кто стал победителем в споре власти и Сахарова?

Вопрос имел только один ответ, и он прозвучал из толпы одобрительным гулом с именем великого физика. Я не то чтобы не соглашался с этими людьми, мне просто было это неинтересно, и я пошёл было дальше. Осторожно, никому не мешая, пробирался к окраине толпы. Но вдруг меня осенила странная мысль: что это за люди? Я шёл, взглядывался в их лица, в их обличия, в их одежды, в их существа... Все эти люди были какими-то не такими, как у нас в Гурьянске. Я даже сравнил себя, так ли я одет, как они. Вроде и так, а вроде и как-то иначе... Да, они москвичи, а в них что-то иное, отличное от провинциальных людей, и всё же это были особенные москвичи. И пусть я среди них похож по одежде, по возрасту, — тут были, в основном, люди среднего возраста, — но всё же я какой-то заметно провинциальный, словно белая ворона. Или тут что-то не так? Всякий провинциал, который оказывается в толпе настоящих москвичей, испытывает неудобства, но тут было ещё что-то. Я остановился и стал внимательней рассматривать толпу. Одежда отличается немного; среди этих людей, а, как я интуитивно понял, это все сплошь люди с московской пропиской, заметна некая небрежность в одежде, здесь одежде уделяется меньше внимания, чем в провинции, здесь не принято “наряжаться”... Но толпа на митинге на площади демократа Сахарова скрывала ещё что-то. И тут я поймал себя на мысли: у этих людей будто бы не было национальности. И хотя здесь были армянин, еврей, татарин, казах, русский, национальность здесь как-то нивелировалась. Это были те, про которых говорили “россияне”... “Точно! — чему-то порадовался я. — Это истинные россияне! Московские причём! Отшлифованные демократией последних десятилетий с их митингами, болтовнёй и вечным недовольством интеллигентов. Именно интеллигентов. Здесь была сплошь интеллигенция. Да и на сцене стояли журналисты, телекомментаторы, певцы, депутаты — сплошь медийные личности. А вон историк, который протёр до дыр телевизор, с бородкой и кривоватым ртом”.

Тем временем на сцене к микрофону пригласили “поэта, публициста, телеведущего...” Тучный, щекастый человек, курчавый, с выпученными глазами, пошёл что-то трубить в микрофон, явно желая понравиться толпе. Я не стал его слушать. Напоследок оглядел толпу, поразился своему открытию “московской интеллигенции”, у которой нет ни возраста, ни национальности, ни определённой профессии, даже пола они какого-то неопределённого... Я усмехнулся: ведь в любой толпе я выискивал произвольно красивеньких женщин, а здесь таковых не было, женщины не имели женственности

и красоты; стайку девчушек студенток я в расчёт не брал. В основном какие-то бесформенные, расплывшиеся, с чертами неясными, неяркими. Но таковы были и мужчины... И все они были по-своему оригинальны.

Просочившись сквозь митинг, не особо многочисленный, не очень плотный и какой-то вяловатый — то ли были митинги в начале девяностых, там всё кипело у тогдашней интеллигенции! — я уходил прочь. Потом остановился, обернулся на митингующих. А ведь нет сейчас в России по сути никакой интеллигенции. Её придумали как класс, как прослойку. Но теперь и класса нет! Где знаменитый класс рабочих? Где трудовое крестьянство? Где славная интеллигенция, куда входили советские офицеры?

Последнее, что я услышал и чему аплодировала толпа, были слова щекастого поэта:

— С этим Крымом теперь в приличном обществе не появишься...

О каком приличном обществе он говорил — я не понял. Где это общество? Но толпе было всё, видно, понятно. Как же я отстал от них!

И тут наконец-то позвонила Рита.

— Папка! Я в театре! На репетиции! Извини, не могла встретить! Приходи прямо в театр! — летел в трубку темпераментный голос дочери.

Ну, вот всё и выяснилось. Риту я мгновенно простил... Своего ребёнка всегда простишь. И всегда его оправдаешь. Ведь это часть тебя самого. На душе стало легко. Но вспомнилось, как я её через силу, через боль отпустил в Москву в ГИТИС. Анна была, конечно, против, я сам был против, а Рита стояла на своём: “Не поступлю — вернусь! Дайте ребёнку осуществить мечту!” — и она смеялась, а потом поджимала губы, и мне было понятно, что от своего она не отступится. Она поступила. Разумная, твёрдая, решительная. Жаль, что в Толике такая же закваска оказалась пожиже. Подниматься одной в Москве — для этого надо иметь характер. И теперь она показывала свой характер. Она окончила вуз, работала в театре. Театр был не велик и не очень известен, средней руки, но это был московский театр! Молодчина, дочка!

До театра я добрался пешком, глазел на Москву. Нет, не понимал я этот город. Он не был мне чужим, но и стремления к нему у меня тоже не было. Хотя Москва — город крылатый...

Администратор в театре встретила меня доброжелательно, сразу проводила в зал:

— Рита меня предупредила. Сейчас репетиция. Но скоро кончится. Вот сюда. Пожалуйста, в ложе посидите. Здесь ступенька, осторожно.

В темноте небольшого зала я устроился в уголке ложи, в тени, и принялся тайно смотреть репетицию — репетицию будущего зятя, режиссёра Стаса Резонтова. Он был на сцене и с ним два актёра: моя Рита — у меня даже что-то толкнулось в груди, когда увидал её, одетую театрально, странно: она была в каком-то рубище с венком на голове, партнёром у неё был молодой человек, раздетый по пояс, тощенький, с огромным тёмным крестом, который висел на шнурке на шее, и тоже с венком, имитирующем колючую проволоку.

Меж ними стоял Стас, взъерошенный, с длинными растрёпанными волосами, с бородой, и объяснял актёрам горячо, страстно:

— Ты бог, ты царь, ты величина! — Он тыкал пальцем актёру в грудь. — А не жалкий человечек из толпы! Ты властелин мира... Ещё нет, но ты им будешь. Ты уже сейчас должен показать им, что ты их властелин, чтоб они преклонили пред тобой колени. А ты торопишься, срываешь на писк. Как говно!

Последнее слово потенциального зятя меня покорило, хотя, говорят, что это любимое словцо у московской интеллигенции ещё со старых времён — с оттепели... Может, так надо? С другой стороны, театр вроде права. Когда бригадир на стройке орёт на разнорабочего, который не несёт растров камня — это одно, а тут столичный театр. А может, иначе не высечь искру из актёра, не создать шедевр?.. А тут уж точно будет шедевр! Стас Резонтов выглядел как гений.

Он переметнулся к Рите:

— Ты пойми: ты тоже не простая баба! Не какая-то шлоха, которая вешается на шею богачу. Ты тоже избранница бога! Тоже царица! Гордая, величественная, а не подзаборная!..

Режиссёр был в ударе, в кураже, он нагонял на актёров свою волну, которая должна была поднять их до вершин его гениальности... Я так и подумал литературно: “до вершин его гениальности”. Мне стало и смешно, и горько. Надо же, человек придумает какую-нибудь дурь, заумь, какое-то бесовское действо, выдаёт это за искусство, а потом ещё умудряется найти поклонников и убедить их, что это божественно и гениально. А если ты его искусства не понимаешь, то ещё и обзовёт тебя быдлом... Я ушёл из ложи, из темноты зала, мне стало совсем неинтересно смотреть на будущего родственника, а дочку стало жаль.

В фойе театра я ждал Риту и попутно позвонил Олегу. Это был наш гурьяновский, мой сокурсник, друг студенческий, я ему ещё накануне отзвонился.

— Ты где? Я тебя жду, уже стол накрыт! — гудел он в трубку могучим голосом.

Репетиция кончилась. Рита выскочила из зала, кинулась ко мне на шею. В рубище, в гриме, с чёрно подрисованными бровями и жирно удлинёнными ресницами, такая незнакомая в своей роли полубогини и такая родная, неизменная.

Вскоре мы сидели с ней в театральном буфете, ждали Таса.

— Он очень милый. Вот увидишь. А что матерится... Так они все матерятся. Не обращай, пап, на это никакого внимания... Без перца в театре не обходится...

— А Станиславский тоже матерился?

Рита рассмеялась.

— А скажи мне, дочка... Там у вас на сцене унитаз стоит. Это что? Декорация?

— Пап, это современное искусство. Не думай о нём... — она перевела разговор на другое. — Пап, мы скоро уезжаем в Польшу. Стасу предложили поставить там спектакль. Это так здорово! А уж после — свадьба...

Тут появился я и жених. И опять впечатление, что он какой-то весь взъерошенный. Высокий, длинноволосый, с бородкой рыхловатой, с проседью, глаза блестящие, большие, чёрные, живые. Взгляд, казалось, ни на чём и не сосредоточивается. И смотрит так будто сквозь человека, куда-то по-верх, вдаль.

Он разулыбался мне, познакомились. Он цепко и твёрдо схватил мою руку, тряхнул с силой.

— Ну, как вы тут? — мимоходом спросил Риту.

— Да вот, об искусстве с папой рассуждаем, — усмехнулась она.

— Ещё кто бы мог определить, что такое искусство, — сказал я.

— Искусство — это всё! — живо вошёл в разговор Стас. — В искусстве возможно всё! В жизни — невозможно. Нельзя на Луне пожить или влюбиться в марсианина. А в искусстве — можно... — Стас говорил быстро, немного даже взахлёб, при этом он смотрел мимо собеседника. Стас был как будто всё ещё на репетиции, и я перед ним — актёр, которого Стас собирается обратить в свою веру. — Дураки от искусства придумали запреты, ограничения. Я думаю, Шекспир был бы только рад, что его делают современным. Что Ромео — это рокер, а Джульетта может без ума влюбиться и в свою служанку.

Рита улыбнулась. Я ухмыльнулся.

По ходу блистательного монолога будущего зятя, с которым мы были почти ровесниками, я подумал: “В искусстве возможно всё? Эх, спустить бы с вас, деятелей современного искусства, пошляков и шарлатанов, штаны да выпороть хорошенько на большой площади — вот бы было действо, вот бы было искусство! Шекспиру бы это больше понравилось, чем Ромео в мотоциклетном племе и Джульетта-лесбиянка”.

Когда Стас говорил, он как будто ещё не всё и договаривал, кроме слов произносимых, в нём бурлила ещё особым фонтаном фантазия.

— Никакие традиции, никакое ханжество не остановит новый театр, — тут Стас замер. — Это очень правильно! — воскликнул вдруг он, вскочил и куда-то быстро пошёл, крикнул нам на ходу: — Надо предупредить завпоста...

— Ты не удивляйся пап, это люди искусства. Он что-нибудь вспомнил или придумал... На него часто после репетиций вдохновение находит.

Мы с Ритой выпили ещё по чашке кофе, но Стас так больше и не появился.

— У нас сегодня спектакля нет, — сказала Рита. — Но после перерыва будет вечерняя репетиция. Я освобожусь...

— Не беспокойся. Я приду к тебе домой. Вечером. Там поговорим. Посидим, чаю попьём. А завтра я улетаю.

— Чем ты сейчас займёшься?

— К Олегу зайду, земляку. Помнишь такого? Он к нам в гости приезжал. Мы с ним вместе учились.

Я вышел из театра. Но театр ещё некоторое время меня не отпускал... Я не знал доподлинно историю театра не только мирового, но и русского. И если к живописи я имел касательство и знал даже фразу из письма Пикассо своему другу, которому он признавался, что, мол, я-то понимаю, что то, что я рисую, не является искусством, но богачи покупают... А вот про театр я подобного не знал. Сам по себе театр казался мне каким-то вымученным занятием, несозидательным. А уж если из театра убрать просветительную миссию, то он и вовсе станет сборищем тщеславных людей, которые не очень-то любят работать, ведь лицедейство и кривляние никогда у русского народа не поощрялось. Конечно, я так думал, потому что переживал за Риту. Мне хотелось верить, что она попала не в какой-нибудь бедлам с сумасшедшим режиссёром, а в храм искусства, святилище, где не допустят издевательств над шекспировскими героями.

14

Олег ждал меня с нетерпением. Ему, наверное, не терпелось вышить, вот и ждал.

— Шёл сейчас по Москве, — рассказывал я ему, — много замечательных зданий, решений оригинальных. Но иногда такая чушь! Застройка точечная — ни к селу, ни к городу. На Цветном бульваре, у Трубной — нелепые стеклянные уродины, кубы какие-то, на дома не похожие... Дочка говорит, что в Москве сейчас правит креативный класс.

— Она заблуждается. Правит, старик, в Москве чиновник... — Олег смолodu называл друзей и приятелей “стариками”, в этом было что-то интеллигентское от шестидесятников, и для Олега в этом был шарм. — На том же Цветном бульваре за последние десяток лет три раза, — он поднял палец вверх, настораживая, — три раза меняли покрытие, скамейки, деревья... Представляешь, какие миллионы зарыты в землю, вернее — в карманы чиновников... — Олег говорил и попутно накрывал на стол. Семья у него была на даче. А он дачу не любил: “На даче надо что-то всё время строить, работать, а я и так всё время на стройках”. Был он высок, толст, головаст и красиво улыбался. В студенчестве он как-то легко, без напряжения мог сойтись с любой девушкой. Другой мучается, втихомолку любит, не знает, как подойти к избраннице, что сказать, а Олег широко улыбнётся — и всё, лучший друг, а уж интим — по желанию с его стороны...

— Правит чиновник. Расцветает офисный планктон, без роду, без племени... А креативщики — это выскочки и прохвосты! Индивидуализм и рисовка... Мы, старик, за них с тобой пить не будем. А мы выпьем за нас с тобой, и за тех, кто нам дорог.

Вскоре к нам подключился Павел Сидорок. Это сосед, приятель Олега, я с ним был шапочно знаком: однажды так же, втроём, сидели, выпивали за встречу в мой приезд в Москву. Причём, когда выпивали тогда, лет пять назад, мне запомнилось, что Павел с Олегом постоянно о чём-то спорили; москвичам — их хлебом не корми — дай поговорить о президентах, об оли-

гархах, о Рублёвке; видимо, близость местожительства к Кремлю вольно или невольно понуждала к сплетням, к какому-то анализу текущего момента. И если тогда Олег с Павлом распинались о московском мэре, то сейчас на повестку дня сам собой выплыл Крым, к тому ж Павел был родом с Украины. Здесь, в Москве, кажется, воздух был наэлектризован этой темой. И двое товарищей, хохол да москаль, сошлись на животрепещущем. Ждать спора не пришлось. Выпив совместно по чарке, Павел уточнил мой маршрут:

— Ты куда на юг? В какой санаторий едешь?

— Санаторий я ещё не выбрал, куда-нибудь к Мацесте, в Сочи. Но поначалу я в Одессу лечу, в гости.

— О! — воскликнул Павел. — К нам! Я ж с-под Николаева родом.

— Чего ты окаешь? — усмехнулся язвительно Олег. — Скоро и Одесса будет наша! И твой Николаев!

И тут же перед его носом возникла большая красная дуля Павла:

— Во вам! — Потом он утер губы ладонью и пробухтел: — Вы нам и Крым вернете... Они сами, суки, приползут, когда мы в Европу войдём. — Павел был такой же крупный мужик, как и Олег. Большеголовый, толстоший здоровяк, говорил он с южным “гэканьем”.

— В Европу войдёте? — Олег издевательски рассмеялся. — Слышь, старик, в Европу они войдут... А не хотели бы вы войти в...

Дальше их разговор превратился в некую смесь разрозненных аргументов, посылов, доказательств, исторических и полуисторических фактов, язвительных и оскорбительных реплик. В пылу полемики, правда, мы успели поднять ещё пару чарок с дежурными тостами, но в целом всё слилось в кашу:

— Вы, хохлы, привыкли к халяве! В 1922 году в состав СССР Украина вошла без Харькова, без Херсона, без Одессы, без Донецка, без Луганска, даже Львова у вас не было. О Крыме и речь молчим... Всё это вам досталось потом, благодаря заклётым советским кацапам. На халяву... И Крым вы хотели продать пиндосам. Базы НАТО там разместить. Предатели Севастополя и русской славы!

— Народа такого нет — русские! Москали — это же помесь татар, мордвы и каких-то там угро-финнов... У нас своя история! История Украины! Мы вам, москалям, ватникам, больше не уступим. Всё, с майдана — новый отчёт!

— Да на вашем майдане черти собирались. Уголовники, шпана, безработные... Месяцами в палатках квасили... И орал во всю глотку: “Слава Украине!” И где у них слава? В чём?

— Пушай, что шпана... Они революцию сделали! А ваши большевики, не шпана, что ли, были?

— А Бандера ваш кто? Где он родился? Где жил? Где сдох? Нашли себе вождя... А в общем, вам, хохлам, по Сеньке и шапка.

— Историю мы напишем сами. Без москалей. А то, что будем жить, как в Европе, так вы ещё на дерьмо от зависти изойдёте.

— Чего ж вы все к нам на заработки прётесь?! А историю вы, хохлы, хоть запишите, но в музыканты ни хрена вы не годитесь... Жить, как в Европе, вам не дано!

— Это почему?

— А потому... Вот слушай анекдот. Старик, — Олег напряг и моё внимание, которое рассеивалось в пустой, злобной говорильне двух застольных приятелей. — Приходит чукча к врачу и говорит: “Доктор, что-то очень много мыслей в моей голове. Думаю часто, вспоминаю. Ты сделай-ка мне мозгов поменьше, чтобы я разными мыслями не мучился”. Доктор мужик понятливый: “Сделаем, как скажешь!” Кладёт на операционный стол, делает наркоз, потом операцию. Всё чин-чинарём. Проходит время наркоза, доктор будит пациента. Тот просыпается — и говорит: “О! Цэ совсем другое дело!..”

Павел сперва нахмурился, он как будто сперва не врубился в анекдот, а потом весь побагровел, набылчился и вдруг векочил, схватил Олега за грудки. И тут пошла драка не драка, свалка не свалка, но мощные обнималки, пыхтелки и борцовский рёв двух выпивших мужиков.

— Стойте! Хватит! Придурки! — Я разнимал их, как мог, а главное — не хотел, чтобы они стали дубасить друга всерьёз, по морде — “морда” долго не прощается, может и всю жизнь не проститься; я старался их подстраховать, чтоб не пробили свои большие башки об углы, а таковых на кухне всегда предостаточно.

Наконец, они в какой-то момент оба ослабли, и мне удалось разорвать их связку. Павел грохнулся на угловую скамью, а пыхтящий, как паровоз, Олег шмякнулся на стул.

— Всё, мужики, расходимся. Всё, атае! Других вариантов нет! Вот вам по стопке водки, и всё, — заявил я. Больше мой глас был обращён к Павлу: — Паша, иди с Богом. Не надо обострять...

Павел оттолкнул мою руку с протянутой рюмкой водки, резко встал, вышел из кухни в коридор. Уходя крикнул нам с угрозой:

— Хрен вам, москалям!

— Чего-о?! — завопил было Олег.

Но я его осадил:

— Всё! Спектакль окончен.

Я и сам тут же собрался и ушёл. Олег пытался было меня удерживать, стал что-то объяснять про ситуацию на Украине.

— Политика мне не интересна, — мягко отнекивался я от дальнейшего гостеприимства.

У меня было ещё время до встречи с дочкой, и я решил пройтись по центру столицы, поглазеть.

Город даже в эту тёплую весеннюю погоду, в чистоте и убранстве к праздникам казался мне каким-то расхристанным, не цельным, разорванным на куски. Даже не внешне казался таким, а внутренне — по жизни будто бы. Внешне Москва, пусть и не везде гармонично, но блестела витринами, бамперами и боками дорогих авто, глянец дорогих гостиниц и фундаментальными постройками старинных мастеров, а внутренне в Москве не чувствовалось гармонии. И то, что на митинге я увидел людей вне класса, вне национальности, и то, что несли мои товарищи, москаль Олег и хохол Павел, меня не удивляло, — это и было фрагментами той душевной тревоги, которую вселяла Москва. Чувство это попутно вызывало какую-то обиду: ведь это моя страна, моя родина, моя столица, здесь у меня дочка, и она вынуждена жить здесь, где нет единства и гармонии, и справедливости нет, о которой мы мечтаем.

Раньше Москва мне не навевала такие мысли. Ладно! Стоп! Довольно меланхолии!

Уже темнело, Москва нарядилась разноцветными огнями, пышущей рекламой, когда я добрался к дочке. Она жила на окраине в однокомнатной, небольшой, уютной квартирке. Я был счастлив, а ещё более была счастлива Рита, когда купил ей эту квартиру после окончания театрального института. Взял кредит и купил. Пусть у неё будет свой угол в Москве, прописка. Это очень важно, если ты собрался в столицу. Без собственного жилья ты всегда в Москве будешь, как на вокзале.

Рита, уставшая, задумчивая, сидела на кровати, я — на диване, где она мне постелила. Она расспрашивала меня про мать, про Толика. Словом, говорили о семейных делах, вспоминали родственников, но пока не трогали самое очевидное — будущее замужество Риты. Ясно, что я не одобрял этого замужества, но и отговаривать дочь не имел права. Выключили свет. Так и легли спать, не обсудив главного. Но мы не спали. Я ворочался, вздыхал, да и в темноте, оказалось, проще было поговорить о чём-то остром, болезненно ноющем... Я говорил про себя дочке: он же сумасшедший, твой Стас. Его сразу выдать. Ваш брак долго не продержится. А если ты родишь от него, и он тебя бросит, — а этот вертиголова тебя непременно бросит! — тогда как ты здесь? Одна? Ведь возвращаться домой тоже не захочешь... Ах, Рита, Рита!

За окном дул ветер, качались деревья. Слышно было, как они, ещё почти безлистые, шумят, тревожат чью-то душу. И, наконец, я хотел спросить Риту о будущем. Но она заговорила сама:

— Я всё, пап, понимаю, — она словно слышала мои опасения. — Стас, конечно, слишком оригинальный... Но с волками жить — по-волчьи выть. Он сейчас на плаву, востребован. Он сейчас тот самый креативный класс, а они правят в искусстве. В Москве так просто не пробиться. Без связей никуда... Только случай. А я на случай не надеюсь. Деньги... Но деньги нужны большие. Таких нет и не будет... Или муж-режиссёр... А муж-режиссёр — это для актрисы всё. Все эти кланы — Михалковы, Бондарчуки... Что у них, избыток талантов? А смотри, как свою родню проталкивают, снимают... Я выбрала себе профессию и хочу тоже пробиться. Призвания хочу, успеха. Конечно, мне неприятно играть дур, ругаться на сцене, стриптиз показывать, но сейчас это тренд...

— Ну, ты его хоть немного любишь? — тихо спросил я.

— Немножко люблю. Он же, как ребёнок, хотя и вдвое старше меня.

— А если родишь...

Она не дала мне договорить:

— Рожать я погожу. Оглядимся пока. На ноги встанем. Вот что мне сейчас нужно!

— А креативный класс — это, мне кажется, новая придумка буржуазии. Фишка, на вашем языке. Сборище разных выскочек и прохиндеев, которые боятся честной конкуренции. Выпендрёж, проще говоря.

— Папочка, да я всё понимаю, всё-всё. Но других у нас нет. Во всём мире так же. Стас — дитя своего времени... А лицедейство — это и есть лицедейство. Я не хуже других актрис, чтобы стоять за кулисами. Я на сцене хочу быть! В главной роли.

Я промолчал. Рита чуть позже добавила:

— Ты знай, пап, я твои наказания помню.

Хотя я не помнил, что ей наказывал. Но на душе стало легче. И пусть ветер полощет голые пока ветки деревьев. Скоро они позеленеют, будут шуметь по-другому, не так пронзительно и тревожно.

Я сел на диване.

— Ты спи, Рита. Я немного у окна посижу. Посмотрю на Москву. Я же здесь редко бываю.

Дочка уснула, а я, хоть и устал от путешествий и впечатлений, ещё долго не мог уснуть. То в окно глядел, то на дочь. Всё хотелось, как в Ритином детстве, подойти к ней, поправить одеяло. Иногда в её детстве это чувство пробуждало меня среди ночи, и я шёл в Ритину комнату, чтобы поправить на ней одеяло — вдруг оно сползло, и дочка мёрзнет, лежит клубочком, поджав колени.

Ах, Ритка, Ритка, а всё же лучше было бы, если окончила ты экономический факультет и пришла ко мне в контору экономистом!

15

В армии у меня было два закадычных друга: Гриша Михальчук из Одессы и Петя Калинин из Ростова-на-Дону. Мы с ними “два года в окопах вшей кормили”... По правде-то, ни в каких окопах мы не были, а были на огневых позициях батареи, а вшей я вообще в армии не видел... И Гриша, и Петя были особенными армейскими друзьями, верными. После службы несколько лет мы переписывались, позднее обязательно посылали друг другу открытки к Дню Советской армии, на Новый год, и в День артиллерии. Лишь с двухтысячных стали звонить друг другу, с большими перерывами. Отмотало уже четверть века после нашей разлуки в дембельской армейской форме. Ни с Григорием, ни с Петром мы покуда не встретились, я всё надеялся на командировку или попутный маршрут. Но... Но теперь я ехал в Одессу, где прежде не был, а побывать там мечтал давно: город защищал мой дед, и там живёт кореш мой Гриша Михальчук. Но — уж если совсем начистоту — это были только поверхностные, открытые поводы для поездки в Одессу. Под покровом тайны гнало меня в этот город нестерпимое желание повидать одноклассницу Ладугу. Это редкое имя меня завораживало, и чем

я становился старше, тем больше, жгучее становилось желание распутать клубок первой юношеской любви.

Лада жила уже давно в Одессе: муж у неё был военный моряк, но недавно, на очередной встрече с одноклассниками я узнал от нашей старосты Веры, которая всё про всех знала, что муж Лады трагически погиб, что Лада живёт с сыном, всё хочет навесить родные места, но никак не соберётся. У меня в душе что-то забурило, словно плагиат, который претил моему пути, вдруг открылся. “Адресок мне найди Лады, — сказал я Вере, — я собираюсь в Одессу по делам, вдруг и к Ладе заскочу...” Хитрая Вера расплылась в улыбке: “Что, не даёт покоя первая любовь?” Я отшутился: “Не первая, а вечная. Бывает у мужиков такая...” — “Ну, ты даёшь, Валентин! Мне бы такую! — восхитилась Вера. — Пиши адрес. А телефона я не знаю...”

В школьной юности с Ладой у меня до близости не дошло, неопытен был. Но целовались мы с ней жарко, в охотку, а кроме этого было между нами что-то такое, что не подпадает под понятие обыкновенной любви. Мы оба понимали, что расстанемся, что никогда не станем мужем и женой, никогда не рисовали совместных планов, и в то же время не могли обходиться друг без друга. В общем-то любая юношеская любовь — счастье, даже если она несчастливо заканчивается.

Ладе всегда хотелось куда-то уехать из родных мест, подальше от обыденности, дров, печек и выюшек, резиновых сапог, ей мечталось о морях, горах, прериях... Она и выпшла замуж за моряка и долго жила на Дальнем Востоке, а потом переехала в тёплую Одессу, оттуда родом был её муж, потомственный морской офицер.

Я Ладу помнил до сих пор. Не только внешность её — внешность-то помнил безусловно, — но и вместе с тем осязательно её помнил, будто недавно обнимал: сбитая, упругая, быстрая, даже порывистая, любила в свитерах и водолазках ходить. Я даже помнил запах одного из её толстых полосатых свитеров, он был у неё любимым, и она часто в нём ходила.

Однажды мы сидели с Ладой на берегу реки, на стареньком причале. Сумерки. Может, днём она и не решилась бы, а в сумерках решилась: она прочитала мне свои стихи. О белой птице, одну строфу я даже сейчас приблизительно помнил:

*И я люблю её полёт,
Высокий, песенный и белокрылый.
Она растопит даже лёд
Безумным криком “Милый!”*

Голос её дрожал, читала она с трепетом. Я честно не понимал, о какой она читает птице, и, наверное, разочаровал Ладу своей реакцией. Она ждала, может быть, похвалы, восторга, а я сказал, что ничего в стихах не понимаю, и вообще думал, что стихи пишут какие-нибудь бородатые мужики с трубками в зубах, которые шарфом шею обматывают, или старые чернявые тётки, укутанные в белые шали, и все они живут в Москве и Ленинграде.

— Эх, — вздохнула, Лада. — Хороший ты парень, Валька, но с тобой на край света не убежишь...

— А мне там и делать нечего, — ответил тогда я. — Знаю, почему ты бежишь отсюда. Все девчонки из сёл уезжают. Кому хочется коров доить да на пьянку мужиков смотреть. У нас тут сама знаешь...

— Знаю! — резко ответила Лада.

Я уж было спохватился: у Лады отец пил запойно и старший брат к рюмке тянулся.

— Да, я уеду отсюда. Не коров и не пьянки я боюсь. Я просто не хочу жизнь прожить серой мышью.

Она так и сказала, я так и запомнил. Она мне читала стихи о белой птице, о высоком полёте. Я, наверное, тогда их не понял. Я ведь тоже хотел из села уехать. Но не улететь...

*...Ах, Одесса, жемчужина у моря!
Ах, Одесса, ты знала много горя!
Ах, Одесса, любимый милый край!
Живи, моя Одесса! Живи и процветай!*

Вспомнилась мне песенка, которую раньше часто лабали музыканты для разгорячённой пляшущей толпы в ресторанах по всей стране. В нынешней Одессе, куда я прилетел из Москвы, было что-то настроенное, смурное, словно она, эта жемчужина, была выставлена на торги, и пока никто не знал, в чьи руки она попадёт, кому будет служить. Возможно, жемчужина могла попасть в руки скупердяя, который мог её заточить куда-нибудь в сундук, или, напротив, могла попасть в руки щедрого барыги, который подарил бы эту жемчужину любимой женщине, чтобы жемчужина сияла у неё в колье на высокой груди; а возможно, могла угодить в лапы просто негодяю, которому было бы всё равно, какова истинная ценность этой жемчужины, и который спустил бы её где-нибудь за бесценок в картёжном рауте, проигравшись вдрызг каким-нибудь ушлым шулерам... Я думал сейчас обо всём как-то втиевато, образно, мне хотелось создать для себя благостное настроение и думать о чём-то лёгком, если даже и свет, и обстановка вокруг была смурноватой.

В аэропорту на таможенном посту меня остановил офицер и с ним — вооружённые люди. Он повертел в руках мой паспорт, спросил:

- Цель приезда?
- Приехал к родне. — И я тут же назвал адрес Григория Михальчука.
- Какую валюту везете в нашу страну?
- Да никакую. Рубли вот поменяю на гривны...
- Рубли — это тоже валюта... Сумма какая?
- Двадцать тысяч... — Наличными у меня было именно столько. Основное — на карточке.

Недовольный офицер больше ничего не спрашивал, недовольно отдал мне паспорт, посмотрел с укоризной: мол, отпускаю за неимением улик. Конечно, было понятно, почему так: Крым оторвался от Украины, а на Донбассе разгорался нешуточный кровавый конфликт. Одесса в стороне не останется, хотя именно Одесса, мне казалось, самый нейтральный и благополучный город Украины, который никому не надо делить. Но я, по-видимому, заблуждался: даже в воздухе чувствовались напряжённость, взрывоопасность и какое-то затишье, словно перед грозой. Все ждали каких-то перемен.

Водитель такси фыркнул, узнав мимоходом, что я прилетел из Москвы, и замкнулся в себе, хотя поначалу был, казалось, словоохотлив. На улицах было много людей, в основном — молодые, группами; изобилие жёлто-голубых украинских флагов, трезубцев. Время от времени в открытое окно машины неслись со стороны этих молодых стаяк речёвки, выкрики. Особенно — во всё горло:

— Слава Украине!

В ответ на это — тоже во всё горло:

— Героям слава!

Мне показалось, что они кричат совсем беспричинно.

— Чего они кричат? Зачем? — спросил я у таксиста.

Тот пожал плечами, он, похоже, не хотел разговаривать со мной.

— Наверно, и в Гондурасе кричат “Слава Гондурасу!” Но Гондурас от этого не становится лучше, — усмехнулся я.

Водитель, мужик уже в годах, утомлённый то ли жизнью, то ли рабочей сменой, всё же тихо сказал:

— Болельщики это, фанаты футбольные, вот и орут... — Потом он скривился в лице, причём нехорошо скривился, даже чуть издевательски: — Москалям лучше с ними не встречаться.

— Это ты меня предупредил, что ли? — резко спросил я, чтоб пресечь насмешливый тон водилы.

— Мне всё равно... — буркнул водитель и прибавил газу.

Я назвал ему адрес Михальчука, но вдруг понял, что совсем не хочу к Михальчуку, и главная моя цель в этом городе — Лада.

— Стоп! Я передумал, — сказал я таксисту. — Поедем по этому адресу, — я прочитал адрес Лады на листочке, а потом зачем-то показал листочек таксисту.

— Это в другую сторону. Там дорога перекрыта из-за этих...

— Объедем. Не бесплатно ведь.

— У меня смена заканчивается...

— Сколько хочешь?

— При СССР жилось лучше, — вдруг ответил таксист. — Всё было как-то по-человечьи. Сейчас все деньгами в нос тычут.

— Я не тычу, я плачу.

Таксист привёз меня по адресу. Я рассчитался с чаевыми, он слегка повеселел, но напоследок сказал с недоумением:

— Херня какая-то кругом творится.

Я не совсем понял, о чём он говорит, но его озабоченность к чему-то призывала, как будто он меня предупреждал о чём-то. Впрочем, я не придал этому значения, меня тянула к себе Лада. Это имя я повторял, как заклинание. Вот дом, войти в который я мечтал десятилетиями... Но как мне показаться? С неба, мол, свалился. Мальчишество какое-то... А чего финтить?! Вот так просто подняться на нужный этаж этого дома, позвонить в квартиру. Ведь все начальные слова и объяснения давным-давно приготовлены. А если откроет *новый* муж? Ну и что? Лада и я уже не дети. Я приехал издалека. Привёз привет от одноклассников и приглашение на вечер-встречу, а сам еду дальше к армейскому другу. Я поднимался по лестнице и ещё придумывал какие-то разные оправдания своему появлению, алиби для воображаемого *нового* мужа Лады.

Но до нужной квартиры я не добрался. Мне оставалось несколько ступенек, — и вдруг дверь, которая пленила меня, к которой стремился столько лет, резко, широко отворилась. На площадку быстро, загроможденно выскочила Лада. Выскочила, дверь за собой закрыла, стала запира́ть замок и тут наконец-то увидела меня.

— Бурков?! Валька?! Ты откуда? — спросила она быстро, но таким тоном, как будто видела меня неделю назад; казалось, неделю назад я куда-то далече отъехал, а нынче неожиданно-негаданно нарисовался.

Я недоуменно пожал плечами.

— Да вот. Приехал к вам в город, решил к тебе зайти... Там наша староста Вера просила, чтоб я тебя на вечер встречи... — я в общем-то лепетал чушь. Но Лада, видно, пропустила это мимо сознания.

— Не до того сейчас, Валя. Убегаю я... — сказала она, потом внимательно посмотрела на меня.

— Может, ты мне поможешь? А? — спросила с заискиванием. — Сына мне нужно найти. Он сейчас там, на “Куликовом поле”. Он позвонил. А потом разговор оборвался. И всё, молчит...

— Ну, конечно, помогу, — ответил я.

— Тогда оставь вещи и пойдём со мной.

Сейчас я не понимал, радоваться такому обороту или нет. Всё выходило вроде бы как никуда лучше: Лада приняла меня как родного, близкого; вот она, совсем рядом, даже обнять её можно, но вместе с тем я для неё кто-то другой, не тот влюблённый одноклассник из школьной жизни; ведь ей даже не интересно, как я тут оказался, зачем? Я враз стал ей нужен для чего-то совсем другого, не для личных отношений.

Мы с Ладой торопливо шли по улице, она говорила мне о сыне, который входит в общество русских патриотов, между делом она кого-то клеймила, называла их “сволочи, хуже фашистов, ублюдки...” Я помалкивал. Догадался, что мы идём на какой-то то ли митинг, то ли сбор, где среди активистов — её сын Илья.

Ветер принёс горький запах дыма. Похоже, где-то подожгли автомобильную покрывку. Чёрный, зловещий столп дыма поднялся над крышами,

над красиво распустившимися каштанами. Но вместе с покрывшей что-то горело ещё, дым поднимался и из других мест.

— Там палатки. Там палатки протестующих, — говорила Лада.

— Палатки горят, как порох. Это слабое укрытие... Они вооружены? — спросил я.

— Нет. Откуда? Они же мирное движение. Не эти бандеровцы...

Впереди стояли молодые люди с флагами украинской повстанческой армии и флагами Украины. Группы людей стали попадаться всё чаще. А вскоре больше появились и клубов чёрного дыма. Жгли уже не одну автопокрышку. Этот чёрный дым все видели по телевидению в центре Киева, где бунтовщики или повстанцы лихо наловчились менять власть.

Чувство обыкновенного самосохранения, а скорее — даже чуждость и равнодушие ко всякому политраскладу в украинской заварухе сдерживали меня; мне хотелось схватить Ладу за плечо, остановить, сказать: “Не лезь! От тебя тут ничего не зависит!” — а ещё хотелось притянуть Ладу к себе, посмотреть ей в глаза и сказать напрямую: “Лада, я приехал на тебя посмотреть, я давно-давно мечтал об этом. А на все майданы-замайданы мне наплевать!” Но я не мог поступить так: где-то в центре этой чертовщины, этой заварухи находился её сын Илья, и теперь уже его судьба выстраивала мои шаги, мои слова и поведение.

В некоторые минуты мне казалось, что между мной и Ладой ничего не изменилось. Конечно, Лада сама внешне изменилась, стала острее, жёстче, старше, в ней появилась нетерпеливость и нетерпимость, что ли, и даже жёсткость, но она была будто бы своей, словно перешагнула из прошлого в настоящее, и мы спешим с ней после школы в наш сельский клуб на итальянское кино, чтобы занять лучшие места в зале...

Площадь, куда мы стремились, оказалась за кордонами милиции, плотным кольцом зевак и бунтующих молодых людей с повязками на рукавах, некоторые из них были с жёлто-голубыми флагами Украины. В их лицах таился какой-то лютый восторг, словно бы шла заслуженная расправа, упоительный кураж наказания за содеянное... Кто-то из них, казалось, абсолютно ни с того ни с сего выкрикивал во всю глотку “Слава Украине!” Окружающая толпа в единомышленном полуистерическом порыве одуревше орала “Героям слава!”

Мне всегда мечталось побывать в Одессе, в городе славы, в городе юмора, оригинальных евреев, в южном портовом городе, где много белого цвета, где погиб мой дед-морьяк. Теперь я здесь был, в самом начале мая, когда уже было тепло, когда цвели каштаны, когда ветер нёс с моря мягкий солоновато-йодистый вкус... Но теперь Одесса, утопающая в белом цвете каштанов, казалась городом нервнобольным, взбудораженным; она утратила привлекательность и обаяние... Злобные, расхристанные молодчики, стяги с бандеровскими символами, балаклавы и медицинские маски на лицах... И чем ближе к площади “Куликово поле”, тем эта толпа становилась плотнее, агрессивнее, взвинченнее, над ней висели матерная брань и постоянный ор “Слава Украине! — Героям слава!”

По дороге Лада не раз пыталась дозвониться до сына, но тот не отвечал. Это взвинчивало её, она что-то шептала на ходу, кого-то ругала. В душе у неё, видать, что-то трепетало, возмущалось, болело. Что-то несусветное происходило и вокруг.

Я видел, как молодые парни и девушки разбирают плитку тротуара. Так и вспомнилось: “бульжник — оружие пролетариата”, но здесь были не пролетарии, и это казалось бы полной дикостью, но такое уже случалось на улицах Киева. Всё сопровождалось криками, возгласами, проклятиями и руганью, всё обливало какой-то животной злобой. Молодые люди, с символикой футбольного клуба на футболках, что-то орал, среди них ходили особенные, в балаклавах, они что-то подсказывали, организовывали.

Я слышал, как один из них кричал:

— Не трогайте милицию! Никаких камней! Не трогать! Не кидать! Нас пропустят...

Впередиди гдето вспыхнул файер, потом другой, что-то грохнуло наподобие взрывпакета, а потом в небо с синим хвостом взвилась петарда. Группа молодых людей шла организованной колонной. Они шли целенаправленно и непоколебимо. В руках — палки и щиты. По выкрикам было понятно, что они устремляются туда же, куда мы с Ладой. “На Куликово!”

Их колонну сопровождали выкрики:

— Смерть врагам!

— Слава Украине!

— Москаляку на гиляку!

И злобный хохот.

Улицы возле площади, на которой стоял дом с колоннами, казалось, шипели, гудели и изрыгали ненависть... А главное и неожиданное: всё это снимали на телефоны, мини-камеры и на профессиональные камеры зеваки, люди заинтересованные, журналисты разных каналов. Тут начиналось какое-то бесовское действо. Но, видимо, Украина, по примеру стольного Киева, уже привыкла к этому, и в этом был революционный наркотический выплеск — выплеск гормонов воинственных внутренних сил. Милиция придала, казалось, шествиям молодых людей некую упорядоченность, но на самом деле своим бездействием только подстрекала, распалая злобу толпы.

На крыльце дома с колоннами стояли ошестинившиеся люди, они окружили себя рыхлой хиленькой баррикадой, а на самой площади догорали палатки, какой-то хлам, мусор, лозунги, российский флаг; под ногами была и испачканная тряпичная растяжка “Одесса — город-герой”. Дым, всплески огня, крики, взрывы петард и ликующая, а вернее — оскалившаяся толпа оцепила дом с колоннами.

И эта толпа, взведенная и уже подпитанная разгромом и пожаром на площади, с цепями и битами в руках через остовы палаток, мусор, коробки, ящики, деревянные поддоны стремилась к тем, кто огрызался с крыльца дома с колоннами. Но их, затёртых со всех сторон с площади на крыльцо к центральному входу дома, было немного, вернее, большинство уже пряталось в доме с колоннами, а после того, как на крыльцо полетели не только камни, но бутылки и стали раздаваться взрывы “моловских коктейлей”, с крыльца и вовсе исчезли разрозненные группки оборонявшихся, и двустворчатые двери дома с колоннами затворились.

— Он там! Илья там! — выкрикнула Лада.

— Ты его видела?

— Нет! Но я знаю, что он там! Он с ними! — Она не хотела и не могла слышать голос разума, она рвалась к своему сыну, ничего не пытаясь анализировать и предпринимать, кроме единственного — пробиваться в дом, где сын. — Пойдём! Пойдём быстрее! Я знаю, где пройти! — Лада схватила меня за руку, поволокла, умело обходя группки зевак, молодых националистов, фанатов, она даже ловко просочилась и провела меня в разрыв милицейского кордона, правда, тот был каким-то совсем анемичным.

Когда мы подбежали, вернее, протолкались к торцевому входу дома с колоннами, я заметил, что толпа на площади стала активнее: всё больше и больше камней, бутылок летело в окна дома. Оттуда кто-то и что-то пытался кинуть в ответ в толпу, но — больше для остратки. Раздались и выстрелы. Со стороны парадного крыльца уже валил дым.

Возле подъезда, где мы оказались, толпились гражданские люди, милиция, несколько медиков, неподалёку стояла “скорая” с включённым маячком. На земле лежал парень, голова у него была в крови, его перевязывала врач, остальные озирались, что-то сумбурно выкрикивали. Лада, видимо, знала и этот дом, и этот подъезд, она что-то сказала милицейскому майору, который тут стоял с несколькими подчинёнными в спецжилетах и с оружием, а потом, взяв меня за локоть, потянула за собой; мы быстро прошмыгнули к двери, а потом и за дверь, человек, который тут стоял, наверное, охранник, ничего не возразил, потому что Лада выкрикнула ему в ухо:

— Я здесь работаю! Там у меня важные документы!

Лада и в юности была находчива, в карман за словом не лезла, и тут сыграл её талант, больше на нас никто не успел среагировать; мы оказались в коридоре первого этажа дома.

Здесь уже чувствовался запах дыма, гари и ещё чего-то ядовитого. Так обычно горит некачественный пластик, панели или декор, и дым от них бывает всегда чёрным, едучим. В этом момент мне почему-то вспомнился пермский пожар в “Хромой лошади”, где сгорели и задохнулись больше полутора сотен молодых безвинных людей. На какой-то момент я замер, то ли вышняя сила задержала меня, то ли обыкновенное чувство самосохранения. “Зачем, куда ты лезешь? Тебе не надо туда!” — просквозило в сознании. Но рядом со мной была Лада, ради которой я и появился здесь. Оставить, бросить её здесь — это немыслимо!

— Чего ты собираешься делать?

— Найти сына! — дерзко выкрикнула мне Лада.

— Дом могут поджечь. Его уже подожгли. Мы все окажемся в ловушке!

— Я должна найти Илью!

В коридоре Лада пыталась открывать двери, все подряд, яростно дергала за ручки, но они все почти были заперты.

— Стой, Лада! погоди! А вдруг твоего сына нет в здании? Мы не сможем обойти все комнаты!

Я понимал, что идти туда, где разгорается пожар, не надо. Надо убежать от пожара. Но Лада маниакально стремилась в самое пекло. И у неё был железный посыл: там мой сын!

И всё же одна дверь оказалась открыта, там было двое парней. Но разглядеть или что-то спросить их мы не успели: внезапно раздался хрусткий грохот разбитого стекла, чем-то вроде кирпича саданули по нему с улицы, а следом в пробойну влетела бутылка с зажжённым фитилём у горлышка. Бутылка врезалась в стену, лопнула, взорвалась, огненный шар обдал комнату, всех опалило пламенем и жаром, и мы все с криком бросились прочь от огня в коридор. И уже в коридоре волосы на голове Лады вспыхнули. Она закричала громко, дико, стала будто бы отбиваться от огня, но на ней загорелась и кофточка, видно, зажигательная смесь попала повсюду. Лада просто начала гореть, вспыхивая в разных местах, куда долетели брызги горючего.

На счастье, на мне была ветровка из плотной ткани, я скинул ветровку, обхватил ею голову Лады, сам прижался к ней, заглушая огонь, который едва не превратил её в свечу.

Когда я сбил огонь с её одежды, скинул с её головы ветровку, Лада, ошалевшая, онемевшая, враз изменившаяся, с чёрными пятнами на лице и на обожжённой голове, стояла передо мной, словно контуженная, надсадно дышала открытым ртом; у неё, скорее всего, были обожжены дыхательные пути, а от головы пахло палёным, бровей тоже не было видно, лишь две чёрные обожжённые полоски смутно проступали в полусумраке коридора, освещённого языками пламени из горящего кабинета.

— Илья! — прошептала Лада. Говорить, похоже, она не могла — только шёпотом.

— Возвращайся! — приказал я. — Возвращайся тем же путём! По коридору! Назад! Бегом! К врачам! Я найду твоего Илью! Беги! — Я толкнул её в спину, чтобы она поняла наконец-то, что надо спасаться ей самой, никому другому она не поможет.

Я пронаблюдал, как она, совсем потерянная, пошатываясь, пошла по коридору, потом даже побежала, потом остановилась, потом от моего крика: “Беги, Лада! Беги! Беги!” — она опять побежала. Я увидел и прогал в двери: её выпустили из дома с колоннами. Всё! Значит, она спасена!

Теперь — спокойно. Здесь должны быть огнетушители, пожарные гидранты, пожарные лестницы, чёрный ход. Но почему нет пожарных?! Где они? Это центр города! Где пожарные машины, чёрт возьми!

Запах гари уже распространялся повсюду, дым ел глаза. Я услышал выстрелы, что-то где-то во внутренностях дома взорвалось: опять, видно, кто-то кидал в окна бутылки с зажигательной смесью. И ещё — крик. Когда я

поднялся на второй этаж, а потом и на третий, когда выбрался на крышу, крик раздавался всё время с разных концов здания, а ещё повсюду стоял шум, ровный, не стихающий, с треском и иногда с шуршанием, — это был шум пожара. Люди кричали в ужасе, предсмертно, крик иногда был летящий, значит, кто-то кричал, падая или прыгая из окна или с крыши. А с площади неслось какое-то гавканье и улюлюканье толпы. Взрывались пептарды, разносились истошные вопли восторга и самозабвенного ликования.

Везде, где я был, спрашивал каждого встречного: “Илья Коробов! Не видели?” В ответ: “Нет, не видели. Не знаем”. Время от времени я выкрикивал среди коридора или на лестнице: “Илья Коробов, ты где? Откликнись! Илья Коробов!” На крыше его тоже не было. О нём никто не знал. Только один парень пожал плечами: “Вроде видел его, но вроде ещё на площади...”

Пожар тем временем набирал силу: всё больше комнат, кабинетов охватывал огонь, горел и центр здания, всё, что было вокруг парадного подъезда и лестницы.

Если горят нижние этажи, то люди, естественно, бегут наверх. Дом каменный, можно, конечно, спастись, если приедут вовремя пожарные... Но их нет! Даже воя сирены не слышно. В коридорах стали попадаться обожжённые люди: куда-то плелась пожилая пара; девушка, схватившись за живот, передвигалась вдоль стены, парень, очумевший, бормотал: “Туда нельзя, там всё горит!” — и полз на четвереньках. Дым всё больше наполнялся какой-то кислотой — горел, видать, совсем дрянной пластик или из дрянных материалов мебель.

Я не видел самолично и не мог видеть, но догадывался, что некоторые выпрыгивают из окон, отсечённые пожаром в коридоре от лестниц, заблокированные на этажах в помещениях. Подступала минута, когда нужно было самому думать о спасении. Рвать когти...

Заглядывая в разные помещения, я всё чаще стал наткаться на мёртвых, от угарного газа, от дыма, от открытого огня, возможно, от выстрелов, — я всё больше оказывался в перевернутом мире: здесь был не только огонь, дым, хаос, здесь шла война; те, кто на улице, умерщвляли тех, кто был в здании, и делали это под восторженную матерную брань, вопли и издевательские лозунги: “Слава Украине!”

Где пожарные? Где менты? Они что, совсем здесь, в Одессе, осатанели?! Отчаянные крики раздавались и от осаждённых в доме с колоннами:

— Пойдёмте наверх — внизу всё в огне.

— Сверху спрыгивать — слишком высоко...

— Где эти суки, пожарные?!

— Стреляют! Опять стреляют по окнам...

— Надо всё-таки пробиваться через низ.

— Всё подожгли, бандеровцы. Сволота!

— Там внизу нас перестреляют.

— Но я им так не сдамся...

— Отсюда надо сперва выбраться, а потом уже сводить счёты с врагами...

Внутри здания дышать и в самом деле становилось невозможно, но и у открытых окон, на карнизах было также опасно: люди там становились мишенями.

— Эй, сюда! Помогите! — вопили из окон, а в ответ с площади им кричали оскорбления и кидали в них камнями.

Осаждённых загоняли в какой-то бесовский тупик.

— Почему нет пожарных?

— Потому что нас здесь хотят сжечь... Это же фашисты!

“Сгореть от каких-то бандеровцев — невесёлая перспектива для человека, который приехал на отдых и мечтал повидать свою первую любовь, и даже строил какие-то планы”, — думал я. Но больше думал о том, как пробиться обратно к торцевому выходу или чёрному ходу, или к пожарной лестнице — ведь она должна быть! От окружающих я помощи не ждал, в их лицах я читал в основном растерянность и даже обречённость. Они не знали, как действовать, что делать, кто-то из них пытался звонить, кто-то кричал, кого-то умолял, но всё это только приближало жестокий финал.

Э-э, нет! Не сдадимся! Выход точно есть! Где-то есть! Нестерпимая сила действовать, сопротивляться обстоятельствам пробудилась во мне, когда я с ужасом увидел, как молодой парень, который сидел, сгорбясь, в углу на стуле в коридоре, вдруг повалился на пол, ударился головой об пол и вскоре умер, он просто умер, он, наверное, уже отравился дымом, и возможно, у него было слабое сердце; он умер.

Я высунулся в окно, наскоро осмотрелся, увидел, что к дому подъезжает пожарная машина с раскладной лестницей на крыше. Всё-таки пожарные появились. Надо пробиваться туда. Набрал побольше воздуха в лёгкие — и бегом по коридору, в сторону, где была машина. Но до спасительной лестницы я сразу не добрался. По дороге в сумраке я столкнулся с парнем, он был отравлен дымом, он, похоже, умирал, и я не мог его бросить, я схватил его за шиворот и потащил с собой.

Под окнами, куда мы кое-как приволоклись, стояла пожарная машина с поднятой лестницей, и снизу уже пожарный бил из шланга струёй воды по горящим окнам. Я крикнул, что было сил:

— Сюда! Лестницу дайте! Сюда!

Вскоре спасительная струя воды пожарного гидранта ударила в окно, рассыпались брызги, сквозь дым и пар появился шанс на спасение.

— Сюда! Сюда! Парня вытащите!

Парня удалось спасти. Правда, я совсем его не запомнил. У него были чёрные печальные глаза, взгляд совсем отсутствующий. Парень ничего не мог сказать. Но он выжил, явно выжил. Его спустили пожарные. Потом — ещё девушку. Потом к нашему окну подбежали женщина и пожилой мужчина.

Самому же мне пришлось ещё попутешествовать по дому с колоннами. Мне надо было выбраться через торцевой ход, найти Ладу — вдруг она ещё там. Да и возле пожарных стоял кордон милиции, а мне не хотелось оказаться в их лапах. Дом стали тушить, и я понадеялся, что уйду тихо, незаметно, не попав в руки одесских хреновых правоохранителей...

Наконец-то я отыскал чёрный ход. Но именно с чёрного хода в здание шли и пожарные, и спасатели, и милиционеры, и мародеры, и сами поджигатели. Мне навстречу на лестнице попались двое мужчин в камуфляже.

— Где выйти? — хрипло спросил я, держась за горло, — дыма и гари я всё-таки наглотался.

— Иди вниз и направо! По коридору до конца!

Я спустился на первый этаж, прошёл по коридору, куда указали, и вдруг замер перед открытой комнатой: в комнате, обожжённой до черноты изнутри, и уже потушенной, сырой, с лужами посередине, в копоти находились три обгорелых трупа, похоже, двое парней и девушка. Они замерли в нелепых позах: девушка на стуле, запрокинув обгорелую голову без волос, один парень лежал на полу, раскинув руки, а другой сжавшись в углу, калачиком, — все чёрные, неестественно чёрные, как головешки, словно их опалили из огнемёта.

Вскоре возле меня в коридоре появилась троица горластых парней, они были в повязках на лицах, в руках у них были фонарики и палки. Я сразу почувствовал от них ток агрессии. Они говорили:

— Во! Гляди! И здесь негры лежат!

— Башка, как уголь.

— Так им и надо!

И тут они разом, совсем не к месту рывкнули:

— Слава Украине!

Это было как пароль, как символ, как знак слитности или признак духовного единокровия, который их сплачивал даже в самых преступных проявлениях. Говорили они по-русски, чисто, даже не смягчая по-украински “г”.

— Ты кто? — рыкнул один из них, глядя на меня в упор.

Я не стал объяснять, показал на горло, тихо промычал.

— Говорить, что ли, не можешь?

Я кивнул головой.

И тут один из них заорал, с матюками:

— Вали отсюда, пока ноги не вырвали!

Я выбрался на улицу, вздохнул полной грудью, хотел куда-нибудь улизнуть от милиции. Но ближний ко мне милиционер в бронезилете цепко схватил меня за руку, даже взял её на излом:

— Оружие есть? — выкрикнул он.

— Да какое оружие? — ответил я, брыкаясь и пытаюсь высвободиться. — Я здесь случайно.

— Разберёмся. Обыщи его, — приказал он другому милиционеру. — Веди в машину.

Милиционер быстро, грубо обшарил меня, толкнул вперёд к машине, которая находилась несколько в отдалении. Тут-то я и оказался в коридоре из людской толпы. Это были те самые головорезы, которые и спалили дом с колоннами. Они кричали на меня злобно или веселяще злобно:

— Вот ещё одного гада поймали!

— На колени! — взвыл кто-то сбоку.

— Оставьте его! Пропустите! — осадил сопровождающий милиционер. Но с ним никто не посчитался, толпа отделила его от меня, да и он сам как будто хотел меня отдать толпе на растерзание.

— На колени! — заорали со всех сторон.

Я никогда ни перед кем не вставал на колени, и в этот момент мне почему-то вспомнился стишок, который заучил ещё в армии: “Мы русские! И пусть навек запомнит враг, Что лишь тогда встаём мы на колени, Когда целуем русский флаг...” На колени вставать перед этими выродками я не собирался. Но несколько пар рук вцепились в меня, стали валить на землю, а один — я хорошо запомнил его: белобрый, волосы ежиком, в полосатой футболке из синих и жёлтых полосок — подкочил ко мне с диким оскалом и врезал коротким ударом палки по ноге, по колену.

“Я найду тебя и убью!” — промелькнуло у меня в мозгу, когда я упал на землю и скорчился от боли в колене.

— Теперь ползи!

— Коридор позора!

— Ползи, сволочь!

Они пинали меня, оскорбляли, кто-то плевал на меня, но я, как заклинание, повторял про себя: “Я найду тебя и убью!”

Скоро, однако, меня и пойманных, и спасённых горемык-счастливец из сожжённого дома с колоннами привезли в отделение милиции. У меня забрали документы. Принимавший меня капитан ехидно радостно воскликнул:

— Во, гляньте-ка, у нас кацап! Шпиён? Ты шо здесь делаешь, хад?

— У меня дед в войну Одессу защищал, — ответил я.

— Замолкни! Лучше бы не защищал... В камеру!

16

Утром, проснувшись на нарах в одесском СИЗО, я попытался оценить всю нелепость ситуации: обожжённая Лада, мои травмы, ушибы, ожоги, горящий дом с колоннами, негодий в синей-жёлтой полосатой футболке, ударивший меня по ноге, пинки, плевки — за что всё это? Ведь я им ничего не сделал. А за что эти сволочи сожгли невинных людей? Что это было? Запах дыма, гари всё ещё был со мной, в одежде, он пропитал всё, и почему-то не истлела за ночь мысль: найти и отомстить тому подонку, который подло свалил меня с ног. За что мне такое?! Ведь это родина и моих предков!

А утро было солнечным, ласковым. В камеру из форточки врвался свежий воздух, виделось синее небо. “Жив! И радуйся!” — утешал окружающий мир.

В камере я старался ни с кем не общаться. Слышал разговоры, опасливые, полужёпотом, словно здесь, среди десятка человек затесался доносчик.

— Говорят, больше сотни сгорело.

— Виноватых не найдут. Вот увидишь. Не найдут. И никого не посадят.

— Это “правосеки” и бандеровцы. Они уже все смотались из Одессы...

Их для того и привозили сюда.

— Вон и на майдане никто не знает, кто стрелял, как убили. “Святая сотня” — и всё тут, концы в воду.

— А из “Беркута” сколько положили?!

Я с ужасом думал: что же творится на бедной Украине? Чего им не живётся? Климат отличный, море, территория огромная, но при этом промышленность, центры советской науки — всё в прах. Ради чего?

На вопрос из камеры меня вызвали первым. Возможно, потому что у меня было российское гражданство, возможно, потому что кто-то хотел покуражиться над москалём или поймать лазутчика, поскорее огласить имя провокатора и шпиона. Я решил, что буду говорить правду. Правда всегда человека спасает!

Однако услышав несколько слов от упитанного гэкающего майора и злобно хмыкающего следователя в штатском, я понял, что никакой правды им не нужно, они её недостойны.

— С какой целью прибыли в Одессу? Почему оказались среди сепаратистов? Зачем подошли здание? Кто вас направил на подрывную работу? — в таком ключе они повели разговор, и я не стал им рассказывать о Ладе и цели моего появления в доме с колоннами.

Я стал отвечать коротко, чётко и абсолютно спокойно:

— Я приехал сюда повидать армейского друга. В гости. В здании оказался случайно. Толпа стала кидать камнями — нужно было где-то спрятаться. Я побежал вслед за пожилым человеком... Меня никто не направлял на подрывную работу. Я строитель...

Следователь, закидывая чёлку набок, что-то писал и с иронией кивал головой, хмыкал.

— Слышь, москаль, — вдруг язвительно спросил майор, — на кой хрен ты сюда припёрся? Мы без вас тут разберёмся, с кем нам быть и как нам жить. Крыма вам мало? Сюда припёрлись воду мутить?

Тут я тоже впрямую, глядя в глаза майору, ответил:

— Мутить я тут ничего не собираюсь. Одессу защищал мой дед, погиб... Я должен был здесь побывать.

Тут слегка оживился следователь:

— Ты ж говорил, что к другу приехал. Как его звать? Адрес?

— Это Григорий Михальчук. Он живёт по адресу...

— Кто? — взвеселился майор; они многозначительно переглянулись со следователем.

— К Михальчуку, значит?

Майор взялся за свой телефон, потыкал кнопки.

— Гриша? Ха! Здорово! Знаешь ли ты, Гриша, что являешься пособником сепаратистов? Ха! Гриша, какие шутки! Серьёзно! У нас всё серьёзно! — Майор открыл мой паспорт и по нему прочитал: — Знаком ли тебе Валентин Андреевич Бурков? Ха! Ждёшь его? Он сидит у меня! Обвиняется в шпионаже и пособничестве сепаратистам. Статья тяжёлая, на много потянет...

У Михальчука был автосалон в Одессе, и многие из ментов его, вероятно, знали. Менты к машинам всегда испытывали страсть, и Михальчук оказался для них фигурой известной. Это было для меня спасением, хотя я сразу догадался: менты захотят поживиться, набить цену, вдоволь поиздеваются.

Мы встретились с Михальчуком в комнатухе, где никого не было. Григорий встал со стула подошёл ко мне, я собирался обнять его, но он был возбуждён, очень чем-то озабочен и только протянул мне руку для приветствия.

— Здорово, Валя! Деньги-то у тебя есть? — первое, что он спросил у меня, спросил так, будто мы с ним расстались неделю назад. — Ты, Валя, влип. По уши...

— Что значит влип? Гриш, ты-то чего несёшь?

— А то и несущ... Десять тысяч долларов — тогда отпустят. А если нет, СБУ переправит тебя в Киев, там тебе мало не покажется. — Он произнёс это с угрозой.

— А что я такого сделал?

Михальчук нервно и быстро махнул рукой и снова спросил:

— Бабки есть, я тебя спрашиваю?

— Пусть отдадут мне все документы, телефон, бумажник...

— Значит, деньги найдёшь? Они дают срок до конца дня. Я поручительство за тебя напишу, если гарантируешь... Ты ведь в строительном бизнесе — не бедняк.

— Я найду эти деньги до конца дня. Пусть меня выпускают!

Михальчук слегка помягчел. Подозревать меня во лжи он не мог. А гарантии... Вряд ли он будет писать гарантию на доставку в милицию денег.

Скоро меня и в самом деле освободили. Майор криво лыбился и говорил: — Благодарю своего друга. Если б не Гриша... Но помни, тебе даём только сорок восемь часов. Через двое суток чтоб духу твоего здесь не было! Ясно?

— Ясно, ясно, — буркнул я.

Михальчук предложил поехать к нему. Я отказался, сказал, что в гостинице мне будет удобнее.

— Деньги я принесу после обеда. Мне отмыться бы надо. И повидать одного человека...

Тут Михальчук замаялся, он мне не верил: вдруг я смотаюсь, исчезну. Я это понял, почувствовал:

— Пошли в банк. Я сниму с карты всё, что есть. Там как раз около де-сятки...

Михальчук опять помягчел.

— Надо отметить твой приезд, Валя. Пойдём в ресторан.

— Не сейчас.

...Добравшись до гостиничного номера, оставшись один, я стал называть Ладе. Долго никто не отзывался, наконец ответил молодой мужской голос.

— Это ее сын Илья, — представился молодой человек.

— Что с мамой?

— Она в ожоговом отделении. У нее голова обожжена. Руки тоже. Я сейчас у неё, в больнице. Она на перевязке.

— Как ты сам? Ты был в горящем доме?

— Нет. Нас ещё раньше отгеснили... Потом — драка...

— Не надо рассказывать. Ты жив-здоров?

— Да... Синяки не в счёт. Телефон разбили... Поэтому и не отвечал.

— Я навещу твою маму сегодня вечером. И вечером заберу свои вещи. Будь, пожалуйста, дома, Илья.

Теперь можно было облегчённо вздохнуть и подвести первые итоги; ведь что-то подсказывало мне — интуиция! — что нет Ильи в доме с колоннами, так и оказалось. На счастье...

Я позвонил в свою контору бухгалтерше Аллочке. Заговорил самым медовым голосом:

— Положи мне на карту все деньги, которые есть в сейфе. Срочно!

— У тебя проблемы? Что случилось, Валентин Андреевич?

— Аллочка, ничего не случилось! Я хочу купить кое-какие товары для бизнеса. Очень выгодный контракт... Поняла меня? Срочно! Я уже подписал документы.

Денегные вопросы я таким образом закрывал. Рассчитаюсь с ментами и поскорей отсюда, к тому же они отмерили мне сорок восемь часов. Главное — к Ладе. Лада — вот главное, что меня принесло сюда, Лада — вот боль, а теперь и какая-то сумятица в душе.

Вот и побывал я в развесёлой Одессе, *жемчужине у моря*.

Светило солнце, но мне казалось, что город стоял в каком-то сумраке, в оторопи, в страхе и недоумении. Живьём спалили десятки людей, беснующаяся толпа глумилась над городом, издевалась над его героическим прошлым, грозила расправами. Всё это выглядело чем-то перевёрнутым, вздорным, шальным. Стаи молодых националистов, обработанных наркотой "новой истории", страдающие манией гитлеровского прихвостня Бандеры, стали хозяевами города-героя. Чего же вдруг захотели шайки этих отмороzków? Какого порядка? Какой государственности? Чего они орут "Слава Украине!" Ленин слепил им эту Украину. Сталин нарисовал границы. Хрущёв дал попользоваться Крымом, который тут же отвернулся от них... Может, я чего-то не понимаю?

Магалец-то я принял душ, надел новую рубашку, купленную в магазине поблизости, выпил кофе в буфете, вызвал такси и поехал на встречу с Михальчуком.

У гостиницы я стал свидетелем сцены почти театральной, но дикой. Стайка молодых людей (эти юные националисты ходили стайками, поодиночке, видно, боялись) разыгрывала спектакль. Несколько девушек из стайки окружили двух парней, по всему виду, русских, вышедших из гостиницы (я видел их у стойки администратора), и принялись донимать:

— Кто не скачет, тот москаль!

Четвёрка этих молодых стрервочек не давала парням проходу, галдела, прыгая на месте:

— Кто не скачет, тот москаль! Кто не скачет, тот москаль!

Парни, смущённые, растерянно оглядывались по сторонам. А юнцы-националисты хохотали и ехидно ждали реакции взятых в кольцо гостей Одессы. Парни, видимо, хотели поскорее отделаться от этих безумствующих девок, но не знали, как, — попрыгать, что ли, принять всю эту игру или послать их к чертям собачьим, но тогда, возможно, придётся разбираться уже с шайкой парней-наблюдателей.

Такси, вызванное мной, стояло поблизости.

— Сейчас поедem, — кивнул я шофёру и быстро, строго, как учитель, подошёл к парням, которые попали в окружение прыгающих галдящих девок, которые несли околесицу:

— Кто не скачет, тот москаль!

— Ребята, кого ждём? Такси прибыло! Садитесь в машину! — Парни переглянулись и всё поняли, решительно сдвинув девок в сторону, пошли к машине. А я громко прикрикнул на девок:

— Чего распрыгались, дуры! Вон посмотрите, сколько мандавошек натрясли! Прекратить прыгать! — Ошеломлённые, они враз остановились, стали смотреть себе под ноги, словно и впрямь натрясли насекомых... Их присмотрщики возмутились было, ринулись ко мне, но я выкрикнул зло, властно:

— Стоять на месте! Сейчас проверим у всех документы!

После этого я быстро сел в такси, куда уже забрались двое парней:

— Поехали, командир!

В приоткрытое окно, уже на ходу, я крикнул молодым украм:

— Слава Гондурасу, недоноски!

Таксист горько усмехнулся:

— Во, времена пришли! Ждётся, когда лучше будет, а тут...

Я обернулся к парням.

— Мы из Питера. На литературную конференцию приехали. Здесь каждый год её проводят. Город-то литературный...

— Не до конференций нынче, — сказал таксист.

Гриша Михальчук сходил в милицию с моей мздой, вышел не просто удовлетворённый, а даже довольный.

— Всё, Валя, дело закрыли. Теперь — в кабак, отметим. Но уехать тебе через пару дней всё же придётся. Пригрозили...

Мне не хотелось в ресторан, не хотелось отмечать встречу с Гришей: что-то переменялось, что-то произошло в наших отношениях. Я пока не оценивал, не смыслывал эти перемены, но понял, что радости и отдохновения душевного с Михальчуком у меня не получится. К тому же всё время думал о Ладе — она обожжённая, лежит в больнице.

В ресторане было достаточно многолюдно: обеденный час. Но все посетители, будто пришибленные, говорили шёпотом, поближе склоняясь к собеседнику. В городе объявили траур, но никто из официальных лиц не говорил, кто повинен в этом трауре: кто жёт?

Это был ресторан с украинской национальной кухней. Вся обслуга в национальных вышиванках. Парень-официант заговорил с нами по-украински. Я тут же его пресёк:

— Говори по-русски, я по-другому не понимаю.

Гриша снисходительно ухмыльнулся.

Вскоре вышли по рюмке-другой. Повсорили про армию. С ностальгией, с добрым словом. Петю Калининку вспомнили. Но я чувствовал, что Михальчук хочет высказать мне как жителю России, как русскому какие-то претензии. Хотя я знал, что в политику он тоже не лезет, он спец по машинам, бизнесмен, но сейчас он словно бы захотел просветить меня.

— Вот вы, москали, хапнули у нас Крым. Понавезли туда вояк, понангали народ на участки — голосуйте! Сейчас вот Одессу баламутите. Но здесь вам ничего не светит. Здесь Одесса.

Я кивнул головой. Спорить с Михальчуком я не собирался, а выслушать его стоило.

— Здесь, Валя, люди не хотят жить, как у вас в Москалятине... — голос Михальчука постепенно насыщался металлом. Я решил смягчить его натиск:

— Гриша, никто и не заставляет. Тем более я.

— А я тебе объясню, почему не хотят, — не слыша моего возражения, давил Михальчук. — У вас азиатчина. А мы Европа... Пускай сперва нам худ будет, но мы всё равно уйдём на запад, в Европу. А укры там или как-то ещё... Да хрен с ним, что выдумка... Пускай будут хоть черти лысые! Зато на этих идеях возродится настоящее украинское государство. Без всяких москалей, без всякой азиатчины... — Михальчук говорил, конечно, не своими словами: всё это он от кого-то услышал, кто-то ему всё это объяснил, а теперь он просвещал меня. — Вон погляди, как забрался ваш царёк на трон, так и сидит, и никто его не тронет, никакие выборы. У нас такого нет и быть не может. Вот придурка и вора Януковича скинули и любого другого скинем, если не станет европейскую линию гнуть. Вон поляки вырулили! И мы вырулим! У нас положение лучше, чем у поляков. Нам только от вас зависимость потерять... Живите вы, москали, в своей Азии и радуйтесь, что у вас там много газа и нефти... И пускай вас, москалей, как держала власть за рабов, так и держит...

Я демонстративно огляделся по сторонам.

— Это ты для меня, что ли, рассказывал? Может, мы ещё тост за это поднимем? — Михальчук слегка смутился, он и сам понимал, что пропагандист из него никудышный. — А это здорово, что вы себе какую-то новую историю про укров сочинили. Забавно... Но ничего путного из этого не получится, Гриша.

— Почему?

— Скажи, Гриша, сколько моих денег ты отдал ментам? Семь, пять тысяч? Пятёрку, поди, себе занькал? С армейского товарища? — Я сыграл ва-банк, рискованно, но не проиграл. Я чувствовал, что Михальчук торговался с ментами, и от моих денег что-то откусил.

Михальчук даже слегка побледнел: его поймали за руку. Но бледнел он недолго. Он залпом выпил стопку водки, а потом придвинулся ко мне и заговорил, глядя мне в глаза, опять же с напором:

— Валя, время сейчас вон какое... Мне нужны твои проблемы? Задаром они мне нужны? — Он не сводил глаз. — Менты запишут меня в пособника сепаратистов, отберут бизнес. Мне это надо? Зачем ты полез в этот дом?

Вот и встреча с человеком, с которым вместе служил и считал своим армейским другом, вышла в Одессе вкривь да вкось. Мы простились с Михальчуком холодно. И, конечно, навсегда. Я не сказал ему это на прощание, но с иронией подумал: “Да, братья, долгое употребление горилки и сала сказалося на вашей мозговой деятельности... Зациклились вы на этой Европе. Но англичанин хохлу не товарищ”.

У Лады были забинтованы руки, голова. Говорила она с трудом, хрипло, задыхаясь. В больничной палате она встретила меня с радостью, со слезами. И хотя ей не рекомендовалось вставать, она кинулась мне навстречу — обняла меня.

— Валя, какое счастье, что всё так обошлось, что Илья туда не попал... Господи! Но за что люди пострадали!.. А как ты? Как ты выбрался оттуда?

— Через следственный изолятор, подкуп должностных лиц и при содействии влиятельного друга, — последнее слово я мысленно взял в кавычки.

После обеда в ресторане напряжение во мне спало. Но я твёрдо решил, что сегодня же улечу отсюда. Нечего мне делать в Одессе. Я так стремился сюда, так мечтал повидать свою первую любовь Ладу... Но. Не рвись в прошлое. *Прошлое нет!* Я так и подумал сейчас, когда сидел рядом с обожжённой, забинтованной Ладой.

— Здесь немного денег. Они тебе пригодятся. Возьми. — Я передал Ладе конверт. Она сначала возражала, но я сказал твёрдо: — Жаль, но только этим я тебе могу помочь. Возьми, без возражений... Наверное, я уеду сегодня. Мне предписано покинуть вашу страну. Смешно звучит, но это так.

— Идиоты! Безмозглые необразованные идиоты... Куда они нас заведут? — Лада тихо заплакала. — Неужели придётся уезжать отсюда? Мы здесь прожили столько лет. И ничего не было. Никаких разногласий... Идиоты! Стравили людей... Обними меня, Валя, на прощание, — вдруг потянулась ко мне Лада. — И прости меня. Я тебя втянула...

— Что ты! Не плачь... Прощай, Лада! — Я ткнулся губами в щеку Лады, почувствовал горький запах каких-то лекарств, мази.

Мы расстались. Я, ждавший этой встречи пять, десять, пятнадцать, двадцать лет, не то чтобы разочаровался, а просто после этой встречи как-то разом погас пыл к Ладе, она превратилась из обожжаемой когда-то девушки в знакомую женщину, подругу. Я рисовал один “проект” нашей встречи, наших возможных отношений, а жизнь дала свой вариант, совсем не романтический.

Внизу, в фойе больницы, меня словно кулаком в грудь толкнули: я увидел того белобрысого подонка с площади в жёлто-голубой полосатой футболке, который ударил меня по ногам палкой, подло свалил на землю, про которого я в запале подумал: “Я найду тебя и убью!” У меня даже колена опять заныло от боли. И ещё больше ненависти проснулось в душе.

Я знал, что не уйду без расплаты: на этот раз я себе этого не прощу. Второго Козьявкина не будет! Если мстить, надо мстить сразу. Время притупляет злость, боль, силу мести. Хотя месть — штука гадкая. Как там по библейским наказам: “Мне отмщение, и Аз воздам...” Я сам сейчас воздам! Воздам этому гадёнышу, издевавшемуся над беззащитными людьми, которых они окружили своей волчьей стаей. Эти негодяи всегда храбры только в шобле. И такие, как правило, жадны до денег... Возможно, и все беспорядки в Одессе устроены за деньги.

Сейчас на парне поверх футболки была ветровка, на голове — бейсболка. Он сидел с девушкой в халате, у неё была в гипсе рука, и что-то рассказывал, жестикнул, время от времени они смеялись. Выглядел он и нагло и в то же время как будто чего-то опасался — часто озирался по сторонам.

Я вышел из больницы, остановился в тени деревьев. Пусть парень останется со своей большой подругой — уж не вчера ли она сломала руку? Может, и ей отвалил кто-то, может, и сама камни кидала в дом с колоннами? Я опасался, как бы он меня не опознал. Но это вряд ли. Тогда было уже сумеречно, и я был грязный, по-другому одет, и был к нему боком, среди людей; он ведь не одного меня валил с ног. Я надел тёмные очки и, как зверь, стал выслеживать жертву, прикидывая разные варианты атаки.

Вот он и вышел. Один. Это мне и нужно. Я приложил к уху сотовый телефон и заговорил громко, чтоб слышал мой враг.

— Я не могу сам приехать! Я кого-нибудь сейчас найду и отправлю тебе эти бумаги. Жди! В течение часа доставят... Заплачу двести долларов — и привезут... — Тут я прервал свой фиктивный, липовый диалог и пошагал прямо на парня. — Слышь, приятель! — Я подошёл к нему, широко улыбнулся. — Хошь заработать?

— Шо? — Он огляделся по сторонам.

— Я говорю, заработать хошь? Двести баксов! За пару часов?

— Чего надо делать?

— Отвезти конверт по адресу...

— Не наркота? — по-русски говорил он чисто.

— Исключено! Бланки чистые. Пойдём! У меня в машине... Аванс получишь сейчас. Остальное — когда позвонит мне заказчик о доставке... Сам я не могу. У меня машина засвечена...

Я даже не стал дожидаться его согласия, надеясь, что двести долларов его сломят. Я зашагал в сторону прилежавшего к больнице парка, куда уже выверил дорогу, дожидаясь своего врага у больницы. Тут не было прохожих. Впрочем, прохожие могли появиться в любой момент.

— Вон там моя машина. Только хочу предупредить тебя. Заказчику ничего объяснять не надо. Адрес написан на конверте. Там же мой телефон... Вот тебе аванс. — Я остановился, выбрав наиболее укромный уголок возле скамейки, под кронами деревьев. Достал кошелек, вытащил стодолларовую бумажку. Усмехнулся. — Можешь пощупать, поглядеть на свет. Не подделка. Всё по-честному. Проверь! А то с одним связался, он сам купюру подменил, и стал мне же доказывать, что подделка...

Парень клоннул, он поднял купюру, чтобы разглядеть на фоне неба. Тут я и всадил ему, мощно, отточенно, снизу вверх в солнечное сплетение. Он враз задохнулся и повалился набок. Я подсобил ему, чтобы свалился он за скамейку. Я забрал у него купюру. Взял парня за пальцы правой руки и со звериной безжалостной силой загнул их — раздался хруст сломанных суставов. В этот момент я был зверем... Потом я встал ногой на кисть его руки, на сломанные пальцы. Парень взвыл, оскалил рот, вытаращил в ужасе глаза.

— Если ты, сучонок, тронешь ещё кого-нибудь, я найду тебя и сломаю тебе вторую руку. Понял?

Он молчал. Он, наверное, не мог говорить. Но я надавил ногой на сломанные пальцы, и он выдавил из себя словно в беспамятстве:

— Понял...

— Слава Гондурасу! — склонившись к нему, прошептал я. — Повтори!

— Слава Гондурасу! — выдохнул он.

Потом я взял его за ногу, за стопу.

— Как вы там орёте? Кто не скачет, тот москаль? Это правильно! А кто скачет, тот козёл! — Тут я опять стал зверем и с дикой силой вывернул стопу. Не знаю, сломал я ему кости или нет, но хромоту на пару месяцев он получил точно. — Он вскрикнул и, похоже, впал в болевой шок. — Теперь, сучонок, меньше козлиться будешь!

Я сплюнул и быстро пошёл из парка. За спиной раздался стон — этот стон был мне приятен.

— В аэропорт! — сказал я таксисту. В машине открыл бутылку коньяку. Одесского. Выпил немного.

— Куда легим? — спросил таксист.

— Домой. В Россию. А вернее, в Сочи. В санаторий.

— Везёт... — усмехнулся таксист. — А я вот в Сочи не был ни разу. Хотя тоже в России родился.

— Везёт, дружище... — Мне захотелось похвастаться таксисту. Наверное, у каждого нормального человека есть ген бахвальства. Но у меня было сейчас хвастовство особенное. — Я всего, чего хотел добиться, добивался. Вот и в Одессе. Я хотел повидать друга. Повидал. Хотел повидать свою первую любовь. Не только повидал, но даже в чём-то помог ей... Меня унизил один подонок. Но я отомстил ему. По-настоящему отомстил, запомнит.

— Вот я и говорю: везучий ты.

— Да, везучий. Только мечта-то осталась несбывшейся. — Я глотнул ещё коньяку из бутылки. — Остановись у воинского кладбища. Я зайду на минуту. Могилы погибшего деда тут нет, но хоть братской могиле поклонюсь.

— Дело святое, — кивнул таксист, потом глянул мне в глаза и опять кивнул: — А Украину вы сами просрали, ребята.

Вдоль дороги простирались поля, кое-где кустился рядами виноградник, но взгляд всё больше забирали и увлекали горы, в синей дымке, загадочные, манящие. А за горами было море. Я ехал на автобусе из Краснодара в Сочи. Прямого рейса из Одессы не нашлось, да и в Краснодар летели через ещё один промежуточный аэропорт.

Итак, я ехал к морю, в санаторий, в Сочи.

В Одессе я и моря-то по-настоящему не видел, даже по набережной не прогулялся. В этом тоже было что-то символическое, ущербное. Вот придурки-националисты! В несколько месяцев так размаландать страну! Всё вверх тормашками... Мне не хотелось вспоминать Одессу, я увёртывался от воспоминаний, но они снова и снова выползали на первый план сознания. “Стоп! Проехали!” — повторял я, но в мозгу держались недавно пережитые события. И не отпускала встреча с Ладой.

Я с горькой усмешкой вспоминал свои наивные мечты о возврате школьной любви. Что это было? “Старческие” иллюзии, которые питали меня романтической любовью к давней подруге? Теперь я не испытывал к Ладе прежних чувств. Будто отшибло. Я пытался найти в себе эти чувства, которые тешили меня долгие годы, но безрезультатно. Лада представляла передо мной несчастной вдовой, занятой только своим сыном, потускневшей и постаревшей, безжалостно и незаконно пострадавшей от “идиотов”...

Наконец-то в глаза, будто волной, плеснула синева моря. Мне стало хорошо и спокойно. Копоть и настороженность сожжённой Одессы смылась, затих южнорусский хохляцкий говор в ушах, который звенел после пожара в доме с колоннами. Я вдыхал напоённый йодом воздух родных субтропиков...

Человек должен жить для себя и своих родных! И выполнять то, что обязан по службе. В этом и будет порядок. И главное — смысл жизни. Иначе всё бардак, глупость, пустота. Я втихомолку блаженствовал. Вот и начался отпуск.

Санаторий пришлось выбрать не самый первостатейный: деньги-то ушли. Ах, какие это ненадёжные бумажки! Но я не был чопорным и избалованным. Словом, санаторий был старенький, советский... Но в этом было немало преимуществ. Здесь сохранились советские врачебные методики лечения, оздоровления, и мне хотелось им полностью подчиниться. Побывать на мацестинских ваннах, не упустить всевозможные процедуры. К моему удивлению, даже море оказалось не таким уж холодным, и нашлось немало отважных купальщиков. А майское солнце светило вовсю. Все ходили в лёгких одеждах. Жары ещё не было, и слава Богу: жару я не любил, не терпел даже.

День-другой — и я стал осматриваться, как всякий неженатый или, тем более, женатый мужчина на курорте. Иллюзии о лёгком романчике скоро растаяли: не с кем тут было знакомиться, амурных перспектив никаких. Я с придирчивостью оценил весь контингент — и разочаровался. В основном, здесь были парами: он и она и, в основном, в преклонных летах. Или одинокие пожилые дамы, а я не забывал напоминать себе, что *я ещё ого-го* и что в сорок пять для меня жизнь должна только начаться. Ещё упал у меня взгляд на женщину с дочкой, но дочка была такой прилипчивой, что не отпускала от себя мать ни на шаг. По годам дамочка мне вроде бы подходила, но по другим параметрам — габаритам, “кубатуре” — не очень... Тут я вслух рассмеялся: и термины строительные, и просто глупость какая-то, но всё это означало и другое: я начинал по-настоящему отдыхать. Солнце, воздух, процедуры, горы, бассейн с морской водой — что ещё может быть лучше! А любовные интрижки — так, на десерт, если получится. Правда, иногда словно туча находила на меня — дымная туча воспоминаний о Ладе, почему-то я чувствовал себя перед ней должником.

По привычке утром я просыпался рано. Физзарядкой я никогда не занимался, а здесь надевал спортивный костюм и до завтрака выходил на пустующие аллеи санатория, делал пробежку. Меня тянуло жить, а любить пока

было некого. После разминки наступала приятная усталость, безмыслие: худые и нехудые мысли, а главное — всякое раздражение отступали. Я принимал душ, потом недолго отдыхал и шёл в столовую. После завтрака отправлялся на процедуры, ехал на сероводородные ванны в Мацесту. Комплекс Мацесты поражал: архитектура победившего социализма, советский сталинский стиль, монументализм, здесь было на что посмотреть. А какой воздух! Горы в синей дымке. Не исключался и бокал сухого вина в фирменном кафе “Фанагория”, и так полдня утекало совсем незаметно. А после обеда — послеобеденный сон. Потом — массаж, бассейн, душ Шарко, прогулка вдоль берега моря. А вечером — Большой Сочи. Парк “Ривьера”, платановая аллея, набережная... Появился и попутчик, тоже из отдыхающих, Коля, простой мужик с Севера, из нефтяников-вахтовиков, недоставучий, неболтливый, с которым можно было поговорить “ни о чём” и съесть шашлык в кафе под бокал пива или в кофейне выпить по чашке кофе, приготовленного в турке на горячем песке.

Я озвучил ему тезис: зачем я буду думать о том-то и том-то и тратить на это свои нервные клетки, расходовать свою мысленную энергию, если то-то и то-то от меня никоим образом не зависит? Уж лучше говорить о чём-то отвлечённом и приятном, чем о злом и насущном. Коля меня услышал и совсем не лез с разговорами о политике. Съездили с Колей и на спортивные объекты недавно отшумевшей, победной для нас олимпиады. Как строитель я кое-что оценивал, прикидывал сметную стоимость, удивлялся.

Отдых складывался удачно. Но натуру не проведёшь! Что-то тихонько ныло внутри, как будто в супе не хватало соли, на столе не было солонки, и я начинал оглядываться по сторонам, будто искал солонку на соседних столах, но солонка мне совсем была не нужна. Женщины! Конечно, среди гуляющей толпы было немало красоток, обаяшек, но они все были как-то пристёгнуты. Впрочем, я не торопил события, случай должен подвернуться или, по-другому, свинья грязь найдёт...

Однажды утром я увидел у стойки регистратора женщину, черноволосую, яркую, одетую в броское платье, с красными крупными бусами на шее; волосы у неё отблёскивали, завитые в мелкие-мелкие кудри. “Наверно, цыганка. Какая экзотика! “Мне б такую”, как в песне поётся”, — мимоходом подумал я. Рядом с ней, однако, стоял юноша, по всему видать, сын, и он был породы светлой, походил на чистокровного русака. “Цыганка” что-то говорила, то громко, то со вздохом администраторше, то хотела что-то доказать, то о чём-то как будто умоляла. И всё время она озиралась по сторонам, озабоченно и прицельно оглядывала каждого. Взгляд её задержался на мне. Я даже почему-то непроизвольно кивнул ей в знак приветствия. Она тоже кивнула и тут же направилась ко мне.

— Извините, мужчина... Меня Лилей зовут.

Я тоже представился.

— Не удивляйтесь, Валентин, у меня странная просьба. Не могли бы вы побыть недолго моим мужем. Мне вас нужно показать администрации санатория.

Я рассмеялся:

— По-моему, кино такое было: “Будьте моим мужем”. Там, кажется, Андрей Миронов играл. Только я не помню, о чём оно и чем закончилось.

Но Лилия не шутила, просила всерьёз, без розыгрышей.

— Вы лучше других подходите. На моего мужа похожи... Вот, на фотографии в паспорте. Взгляните! — Она достала из сумочки чей-то документ и предъявила мне.

С маленького паспортного фото на меня пучился мужик, по моим представлениям, явно не схожий со мной. Мне стало весело:

— А в чём дело-то? Поподробней, пожалуйста.

— Валентин, нет никакого обмана, — она мягко и в то же время по-свойски заговорила со мной, в приятельском духе. Она была взволнована и просила помощи, особой помощи. — Мой муж — чернобылец. Каждый год ему дают путёвку, чтобы самому лечиться и сына подлечить. Но сам он не ездит. Переоформляет путёвку на меня. А тут путёвка горящая. Он не

успел... Дал мне свой паспорт, говорит, устройся, договорись. Но администраторша боится... Говорит, должен муж быть оформлен. Я ей сказала, что муж подъедет... Вот я вас и нашла... — Лиля смотрела прямо, искренно и абсолютно серьёзно мне в глаза, и, как мне казалось, без капли юмора.

— Мне только устроиться. Потом я со всеми договорюсь. Главное — для сына Кирюши...

Сынок тем временем не выражал никакого беспокойства: он сидел в кресле и играл на планшете, наверное, в бесконечные игры, которые обожают его поколение, двенадцати-четырнадцатилетних оболтусов...

— Вы уверены, что это правильный ход?

— Да-а... Они вас оформят. Вы поселитесь. Главное — поселиться. А потом я со всеми договорюсь. Главное, чтоб дали номер и поставили на питание. Я готова им приплатить... Все люди. Все всё понимают. К тому же я не задаром.

— А спать нам вместе придётся? Если по паспорту я ваш муж... — коварно пошутил я, чтоб узнать реакцию новой знакомой.

Тут она рассмеялась, задорно, весело. Смеялась она красиво, и лицо у неё становилось очень красивым, глаза сужались, губы и подбородок чуть вздрагивали, на щеках играл румянец; она как будто молодела, становилась девушкой кокетливой и ветреной...

— Всё же давайте сделаем по-другому. Сходим к директору. Он, говорят, человек доброжелательный. К тому же администратор меня уже оформляла и вряд ли забыла... — предложил я.

Лиля предупредила сына об отлучке. Кирюша только головой мотнул и даже не оторвался от игры на планшете.

Директор санатория, молодой элегантный армянин, был прост и вменяем. Лиля ему, очевидно, приглянулась, он ей улыбался, говорил простенькие комплименты; возможно, он в ней чувал свою, возможно, она была из их племени, южных кавказских кровей. Лиля и он больше улыбались друг другу, а говорил, в основном, я, уже с некоторой ревностью:

— Понимаете, Ашот Арменович, я друг её мужа. Он неожиданно заболел и очень просил меня оказать содействие семье. Жене и сыну. Как-никак, чернобылец...

— Уважаемый, нам всё равно, кого соцслужбы отправляют на лечение: Васю или Дашу. Пусть они дадут нам бумагу, письмо, — он говорил с приятным южным акцентом.

— Если они пришлют письмо факсом, это вас устроит? — по-деловому спросил я.

— Разумеется, устроит, — сказал директор.

Однако из кабинета директора Лиля вышла растерянная.

— Где мы достанем такое письмо?

— Неужели в вашем городе нет ни одного знакомого, кто отправил бы нам факс?

— Но письмо мы где возьмём? У этих соцслужб пока допросишься.

— Письмо мы сами сделаем. И отправим по электронной почте. А на санаторий из вашего города отправят факс.

— А печать? На письме должна быть печать!

Я улыбнулся. Мягко взял из руки Лили её путёвку, на которой отлично читалась печать организации, выдавшей этот документ.

Через пару часов из её родного города прилетел факс в санаторий с нужным текстом и печатью внизу. Подделать такое письмо мне труда не составило. В ближайшем компьютерном центре я сканировал печать, разработал фирменный бланк письма, ну, а дальше... Как в моём любимом кино "Бриллиантовая рука": "Ну, а дальше — дело техники..."

На столе администраторши лежал факс, в котором говорилось, что администрация передаёт путёвку жене, члену семьи чернобыльца. Всё чинно, комар носу не подточит. А когда Лиля с Кирюшей заселились и наконец-то облегчённо вздохнули, я поблагодарил судьбу, что она подкинула мне в санаторий премилую женщину, пусть и замужнюю, пусть и с отроком.

Лиля смотрела на меня благодарными глазами.

— Как всё вы здорово придумали! Так всё быстро решилось... Надо купить бутылку коньяку, отблагодарить директора...

— А меня отблагодарить?

— Ну, это не обсуждается, — рассмеялась Лиля и даже легонько прижалась ко мне в знак благодарности. — Отметим вечером.

Тут моё воображение стало рисовать прекрасные картины сегодняшнего вечера. Внутренний голос лукаво подсказывал: в ресторан с Лилей лучше не ходить, а отметить событие у меня в номере. Было, конечно, опасение: Лилия замужем, муж-чернобылец морально давит на неё и мешает. А вот Кириуша уже не малыш и вполне удовлетворится своим планшетом.

Весь остаток дня до назначенного свидания меня не покидало чувство лёгкости и веселья. Я словно бы помолодел; всё прожитое, пережитое сдвинулось куда-то далеко, будто мне оно и не принадлежало, и вообще казалось, что не было никакого прошлого: всё только начинается с чистого листа. Я оглядывался по сторонам, непроизвольно что-нибудь рассматривал, куда-то шёл, не думая, куда; мне легко дышалось. Вот бы остаться здесь навсегда! Дышать этим воздухом, купаться в море, жить среди этой красоты, покоя, испытывать душевное равновесие, глядеть на пальмы и рододендроны... Чувства мои были настолько светлыми и всеохватывающими, что становилось радостно даже не от предчувствия будущего свидания, а от общей полноты жизни, словом, как в детстве, когда, проснувшись, испытываешь каждой клеткой тела и души свет и радость светлого и радостного мира.

Лилия пришла ко мне в номер принаряжённая, подкрашенная, в синем длинном платье из тонкой материи. С первых же минут свидания мне хотелось Лилию потрогать, обнять. Я даже начинал её ревновать к тем мужчинам, которые у неё были... Пожалуй, это было впервые: странное, новое чувство ревности, ведь у меня с ней ещё ничего не произошло. Но мы с ней уже перешли на "ты".

Осторожненько, без нажима и спешки я решил попытать Лилию насчёт мужа. Как и что? Проблема верности... Лилия была открыта, искренна, по крайней мере, мне так казалось. Не сразу, не целым ведром информации, но постепенно она рассказала, как стала женой чернобыльца и кто этот самый чернобылец.

— Когда взрыв грянул, Сергей ещё был молодой, пожарным работал. Дурость в голове. Не понимал, что такое радиация и прочее... Набирали добровольцев, он мог отказаться. Но не отказался. Сам напросился в Чернобыль. Героем хотелось быть... Вернулся, всё вроде нормально. Но потом сказало. Стал часто болеть...

— Сейчас, наверно, жалеет о том, что поехал? — спросил я.

— Нет, говорит: у каждого своя судьба. Он такую выбрал... У меня сразу были сомнения: чернобылец — как дальше со здоровьем? Ведь радиация не шутки... Но я всё равно за него замуж пошла.

— Любила сильно? — без усмешки подсказал я.

Лилия без усмешки отвечала:

— Нет. Любви не было. Так только, взаимность. А любви не вышло... Просто так... Он, Сергей, из хорошей семьи. И мать, и отец — преподаватели, поэтому я надеялась, что он и мужем будет порядочным. Семью не разобьёт... Мы с ним сейчас уже порознь живём. Просто развод не оформляем, чтобы легче было и с лечением, и с льготами разными.

— А он любил тебя? — я ещё никогда и никому не задавал таких вопросов "в лоб" через несколько часов знакомства, в первый день, но сейчас я даже не испытывал стеснения и скованности, казалось, я мог спросить её о чём угодно, даже о самом сокровенном.

— Он меня, наверное, любил, — простодушно отвечала Лилия. — Ну, во всяком случае, я его очень сильно притягивала. Он мне подарки разные дарил, с поцелуйчиками всё время лез, вещицы разные интимного гардероба покупал. В общем, как женщина я ему нравилась... А любовь — это что-то другое. Я думаю, что любовь чувство бешеное, недолгое. На один месяц...

Я слушал Лилию и старался понять, что она за человек: всё впрямую говорит, не скрывает, что вышла по расчёту замуж, что с мужем не живёт...

— Потом у Сергея проблемы на работе начались, он перестал на меня внимание обращать. Хотя мужчиной-то он быть не перестал... Я друга себе завела. Сперва одного, потом другого. К нему совсем охладела. Только так, по обязанности... Он за городом живёт. Иногда к нам приезжает. Кириюшу очень любит, — Лиля рассказывала увлечённо и главное — доверительно. — Сергей всё время нашу жизнь ругает. Говорит, что сыну досталось время подлое. Всё свели к деньгам и ничего больше. Кругом деньги, деньги... А ведь тушить Чернобыль ехали не из-за денег. Сейчас туда бы никого не загнали по доброй воле... Ну, а к женщинам он сейчас совсем охладел.

— А ты, Лиля, к мужчинам?

— А я нет, — она рассмеялась и прижалась ко мне.

Тут я впервые поцеловал её в щёку. Всё складывалось превосходно!

В этот вечер, в этот изумительный вечер у меня с ней ничего так и не случилось. Когда после лёгкого вина, после милых застольных разговоров о горах, о море, о мацестинских ваннах и о разном прочем курортном, я пригласил её потанцевать (о музыке я позаботился заблаговременно) и мягко прижал к себе Лилю, почувствовал к ней удивительное влечение. Сперва я объяснил для себя это тем, что у меня уже давненько не было женщин и естество брало своё. Но, похоже, это было не так: у неё была упругая душистая смугловатая кожа, цыганочные волосы и безумные чёрные глаза.

— Ты цыганка? — спросил я напрямую.

— Не-ет... Многие так думают. Может, где-нибудь в нашем селе и за-тесался в роду какой-нибудь цыган, но родом я русская. Просто род такой весь чернявый вышел... А прадедушка священником был с огромной чёрной бородой. Я на фотографии видела.

— Очаровываешь ты, как цыганка...

Лиля рассмеялась, а я поймал момент, обнял её сильнее, стал целовать в губы. Потом стал обнимать её так страстно, что намерения мои были очевидны. Лиля мягко отстранилась от меня, её глаза блестели, казалось, тоже от возбуждения и распалённости, но она тихо сказала:

— Валя, сегодня не надо. Перенесём на завтра. У нас еще уйма времени...

Я подавленно опустил голову, танец подошёл к концу. Самый грустный вариант пришёл в голову: ну вот, воспользовалась мной — и в сторону. Лиля, вероятно, почувствовала эту обиженность, притянула меня к себе, запрокинула голову и впиалась сладко, опытно и покорно своими губами в мои губы.

— До завтра, — шепнула она потом, слегка отдышавшись.

В эту ночь я долго не мог уснуть, хотя прежде засыпал легко. Приятные обнадёживающие мысли вились вокруг Лили. Я думал только о ней. Ни о чём другом думать не удавалось. Даже если я насильно заставлял себя вспоминать о бывших "жёнах", о поездке в Одессу, о Ладе, о дочке, о Толике, Лиля как будто стояла рядом или слушала все мои мысли... В моей груди появлялось какое-то знобяще-тревожное, приятное чувство. Так приходит любовь.

19

На следующий день, вернее, ночь Лиля ночевала у меня. Я беспокоился о её сыне, но Лиля мне сказала:

— Он уже взрослый мужчина — один не боится. Сергей в нём воспитывает мужество... К тому же телефон под рукой, да и расстояние между корпусами (они жили в другом корпусе) — докричаться можно.

Лиля отдалась мне просто, естественно и полноценно, как будто много-много раз делала это уже со мной. Любила она не только умело, но даже как-то весело. Темпераментная, шаловливая, она быстро зажигала меня, да и сама увлекалась самозабвенно и неутомимо. Однажды, разгорячённая, обезумевшая, пылая страстью, диковатая, как пантера, жадно глотая воздух, в потёмках ночи, Лиля шептала мне:

— Валя, делай со мной всё, что хочешь... Ещё... Ты мой мальчик...

Ну, а дальше, а потом и вовсе началось некое любвеобильное сумасшествие. Две недели мы с Лилей проскочили по курортной жизни будто за один день и одну ночь. И всё это счастливо-полоумное время мы ни от кого не прятались. Правда, Лиля не каждую ночь оставалась у меня, зато каждый день оказывалась в моей постели. Теперь я даже не представлял, как мог жить без неё. Наверное, такое бывает с каждым мужчиной, у которого плавают мозги...

Опять в груди появилось щемящее неизъяснимое волнение, сладкое, будто стоишь над пропастью и гордишься тем, что стоишь на огромной высоте. Это чувство бесстрашия высоты становилось необузданным. Я понимал, что поплыл... Но разве я не об этом мечтал, разве не об этом мечтает каждый свободный мужчина?! Да, отправляясь на юг, в Одессу, я мечтал возродить, обновить свои чувства к Ладе. Но Одесса мне этого не дала. А здесь сам воздух пропитан не страданиями и тревогой, а весельем, свободой и любовью.

Однажды я ждал её вечером у себя в номере. Уже весь истомился. А она запаздывала. Надоедать звонками — не в моих правилах. Опаздывать ей и не взбрынялось: всё-таки нельзя было безоглядно бросать Кириюшу вечерами и нестись к любовнику. Но в этот вечер я почему-то трепетал. Изумился от ожидания. Я уже намеревался пойти ей навстречу, вышел в узкую прихожую номера, посмотрел на себя в зеркало перед выходом. Но вдруг услышал тихий, знакомый, любимый стук в дверь.

— Лиля! — Даже задрожал от счастья. — Я так ждал тебя!

В эту минуту я не утерпел, впрочем, и не хотел сдерживать себя, понимая, что это моя последняя любовь. Всего меня охватило волнение, которое было знакомо и прежде, в молодости и в юности, и я знал причину этого волнения; у меня даже ком в горле появился от горьких и сладко-счастливых слез. Я прошептал Лиле на ухо.

— Я люблю тебя.

Она, похоже, не очень-то удивилась моему признанию, но покорно прижалась ко мне, поцеловала меня, шепнула в ответ:

— Мне так с тобой хорошо, Валя!

Потом она потихоньку стала расстегивать пуговицы на моей рубашке, игриво и тихо шепнула:

— Можешь смотреть в зеркало. Там будет интересно...

Позже, когда пришла успокоенность и чувство благодарности к Лиле за её неистощимую ласковость, я сказал:

— Наверно, твой муж Сергей здорово ревновал тебя? Ты необыкновенная.

— Он мне сказал ревновать тебя, Лиля, себе дороже. С ума сойдёшь... — ответила она. — У него был друг, этому другу я нравилась. Он этого и не скрывал. Так однажды Сергей позволил мне с его другом вместе поехать в командировку.

— Он так подстроил?

— Нет! Он просто не запретил ни ему, ни мне...

— И что было?

— Ничего не было. Он был его настоящим другом. Он просто меня поцеловал в щёку и сказал, как жаль, что Сергей его настоящий друг. Они вместе ликвидаторами были... А вообще-то, если бы его друг был понастойчивее, я бы... — Тут она рассмеялась. Как всегда, заразительно и достаточно громко, смех её, словно звон колокольчика, разлетелся по номеру. Потом Лиля, словно спохватившись, сказала:

— Всё! Я должна сейчас уйти.

— Куда? — недоумевал я.

— Сегодня день рождения у администраторши. Меня пригласили. Ну, так просто, посидеть. Девичник... Я обещала, так что надо прийти посидеть. Она добрая женщина.

Когда Лиля ушла, я долго лежал на кровати без движений, больной от своего признания в любви, от ласковости Лили. Я не очень понимал: когда, как она успела сблизиться с администраторшей? Всё же очень легко Лиля умела сходитья с людьми. Всех подкупала её искренность... Но я чувство-

вал и некоторую загадку в Лиле. Если в своих прежних *любимых* женщинах я, в основном, видел, кто они, что они, то в Лиле ещё не разобрался. Иногда она была и вовсе без тормозов.

Ночью того же дня, после девичника (но был ли это исключительно девичник? — ломал я голову) Лиля позвонила мне по сотовому телефону и спросила:

— Валя, ты правда, меня любишь? — голос её был отчаянно-горячий, заигрывающе-весёлый, с явной пьянцой.

— Такими вещами в моём возрасте не шутят. А если и шутят, то не так, перед зеркалом...

Она рассмеялась.

— А если ты меня любишь, повтори это?

— Я тебя люблю!

— Громче!

— Я тебя люблю!

— Ещё громче!

— Я тебя люблю!

— А теперь выйди на балкон и крикни так, чтоб я тебя услышала... Я тоже на балконе стою...

Я не стал оправдываться перед Лилей: мол, извини, люди уже спят, я, не раздумывая, вышел на балкон и, заглушая в себе всякий разум и осмотрительность, выкрикнул в глухую ночь:

— Я тебя люблю!

Она, безусловно, это услышала на балконе соседнего корпуса. Другие тоже услышали...

Как-то раз, когда курортный роман у нас был в разгаре, а дней до моего отъезда оставалось мало, мы сидели в одном из популярных сочинских ресторанов: хотелось иметь и такую страничку в своём отдыхе. В этот вечер много и мило говорили, шутили, танцевали. Даже приняли участие в каком-то розыгрыше призов в развлекательной программе. Лиля была в тот вечер очень красивой, она и не могла быть иной, она уже крепко загорела, загар ей очень шёл, особенно в белом тонком сарафане на просвет, вся притягательно шоколадная, сексуальная.

Мы пили из бокалов французское вино, ели жареную сёмгу с богатым гарниром. Говорили о ерунде, но о такой ерунде, которая впоследствии чего-то стоит:

— Лилечка, кем ты мечтала стать в юности?

— Все мечтали стать какими-то знаменитыми, а я... А я мечтала стать официанткой... Я ещё школьницей подрабатывала официанткой в летнем кафе. Мне нравилось.

— За тобой, наверное, многие ухаживали — вот и понравилось.

— Ну, и такое случалось. Но в этой работе есть что-то привлекательное. Мне ведь хотелось быть официанткой на большом круизном судне...

— А кто ты сейчас?

— Работаю в салоне красоты. В общем, парикмахерская. Мы её с подругой держим. Я упустила время, не получила хорошего образования, а теперь за книжки садиться не хочется. Поздно...

— Но всё равно о чём-то мечтаешь?

— Свой ресторан иметь... Такой же, как этот, — она рассмеялась довольно громко. Кое-кто из зала на нас даже оглянулся.

Хм, она говорит, что не получила образования, подумывал я, наблюдая, как Лиля умело орудует ножом и вилок. Профессии тоже дельной не получила... Но в ней есть что-то холёное, породистое, и избалованность есть. Похоже, она никогда не перебивалась с хлеба на воду. Хотя кто знает... Всё же есть в ней таинственность. Ну, и здорово!

Я смотрел на неё откровенно-влюблённо: она яркая, обаятельная, она, действительно, как кошка, — ласковая, щедрая, обворожительная. Истинная женщина! И вдруг я почувствовал счастье... Я же мечтал всю жизнь об этом. Сидеть на берегу моря в ресторане с красавицей, пить хорошее вино,

слушать музыку. Да, я счастлив! Я люблю эту красавицу, я свободен, я никому не изменяю, никого не предаю, мне некого опасаться. Это полное счастье!

— Валя, давай поменяемся с тобой местами, — вдруг попросила Лилия; мы сидели друг против друга.

— Почему? — удивился я.

— Ты только не оборачивайся... Напротив сидит какой-то усатый кавказец. Он слишком пялится на меня...

— Может, набить ему морду?

— Нет, нет! Что ты! — Лилия рассмеялась.

— Может, просто ты сама строишь ему глазки, а он цепляется? — шутливо сказал я, но внутри меня обожгло ревностью. Я давным-давно не испытывал этого лютого чувства.

Я обернулся. За моей спиной, через пустующий столик сидели двое кавказцев. Они и не скрывали, что косились в нашу сторону; мне они даже как-то по-приятельски улыбнулись. Я им не ответил улыбкой.

— Ты в фаворе у здешней публики... Но мне не хочется отдавать тебя на растерзание даже взглядам этих усачей, — сказал я.

Лилия опять безоглядно громко смеялась.

То, чего я боялся, — конец моему отдыху и расставание с Лилей, — произошло как-то внезапно. Однажды я проснулся утром, вспомнил, что вчера у нас с Лилей был последний вечер... На душе стало муторно, хоть плачь. Я сегодня улетаю, а она ещё остаётся здесь на несколько дней. Может, продлить путёвку? Нет, санаторий мне уже поднадоел. На завтрак я решил не ходить, перекушу в аэропорту, всё равно придётся тупо убивать время в ожидании посадки. Сейчас зайду к Лиле, повидаюсь и... Нет, наперёд загадывать не буду! Пусть всё идёт как идёт.

Я осторожно постучал в номер к Лиле. За дверью раздался голос Кирюши:

— Войдите.

— Где мама?

— Она ушла к администратору. Сейчас придёт.

— Я уезжаю. Давай руку. — Я пожал руку Кирюши. — Рука у тебя твёрдая. Спортом занимаешься?

— Немного. Стрельбой... Папа у меня мастер спорта по стрельбе.

Я вышел из номера: не хотел прощаться с Лилей при сыне. Дождался её в коридоре.

— Я уезжаю, — сказал я.

— Мне проводить тебя? — Она смотрела на меня растерянно, она тоже, наверное, не знала, как вести себя со мной сейчас, что мне нужно.

— Давай здесь простимся. Где познакомились, — сказал я, обнял Лилю в сумраке коридора, поцеловал, потом прошептал: — Спасибо тебе. Я позволю. — Я хотел сказать ей, что люблю её, но почему-то не посмел, — значит, точно люблю...

Я пошёл по коридору, оглянулся — Лилия стояла на месте. Я не видел из-за сумрака её лица, её глаз, но я видел её внутренним зрением, остро помнил её "цыганские" чёрные волосы, завитые в мелкие кольца, её карие глаза, сверкающие в темноте, когда она любила меня, ощущал запах её кожи, её ласку, слышал, будто въяви, её смех.

Я уходил от неё, будто в забытии, в некоей полудрёме, ещё не понимая, что происходит. Где, когда состоится наша новая встреча? Мы даже не договорились. Созвониться — да. Но что такое звонок!

И в такси я ехал в недоумении. Как так, почему так быстро, неожиданно всё оборвалось? Дорога была скоростная, прекрасная, отделанная к олимпиаде, да и всё вокруг казалось свежим, прибраным, чистым и прозрачным. Погода баловала, и на побережье было полно загорающих и купающихся.

В аэропорту было немногочисленно и опять же светло, просторно и чисто. Ну, почему, почему я так холодно и быстро простился с Лилей, отказался от того, чтобы она меня проводила? Меня обжигала обида на самого себя.

И почему не поговорил с Кирюшей, не узнал, кто их ждёт дома? Я задавал эти вопросы, и не получал и не мог получить ответов на них. Ругал себя за раздолбайство. А ведь у нас с Лилей всё было так серьёзно. Как в первый раз... А расстались так:

“Позвони! — Позвони!”

Больше медлить было нельзя, пора было идти на регистрацию. Тут во мне все заныло, загудело в висках. Мучила жестокая мысль: стоит только улететь — и Лилия я больше никогда не увижу. Я позвонил ей, вернее — только набрал номер, но до разговора не дошло. Что я скажу ей по телефону, разве у меня не было времени объясниться с ней раньше? Да и Лилия, как я заметил, не любительница болтать по телефону. А впрочем, куда я тороплюсь? Почему улетаю? Ведь мне, в сущности, некуда торопиться. Дома никто не ждёт. Работа не убежит.

Я пошёл к стойке — не к той, где шла регистрация на рейс, а к той, где сдают билеты.

— Вы сдаёте перед самым вылетом — процент возврата будет очень маленький, — предупредила кассирша.

— Всё равно. Я не могу улететь сейчас.

Ах, не мальчишество ли это? Блажь? Придурь? Но поверх всего во мне бурлило счастье, оно всколыхнулось и заполняло меня точно так же, когда я впервые, с нетерпением дожидавшись Лили, признался ей в любви. Никакой здравый смысл уже не мог остановить меня.

Я опять мчался в такси. Я безумно любил её, ревновал её, я хотел её видеть, быть с ней, жить с ней, жить с ней, никогда не расставаться.

Время было уже послеобеденное, все процедуры, как правило, закончены, и Лилия должна была быть с сыном у себя в номере. Я осторожно поступался.

— Кто там? — спросил Кирюша.

— Это я...

— Вы? — Он с удивлением открыл дверь.

— Да, — пролепетал я. — Рейс перенесли по техническим причинам. А где мама?

— Она ушла.

— Куда?

Кирюша пожал плечами.

— Неужели она тебе не сказала?

Он снова пожал плечами, потом посмотрел на меня с сожалением:

— Зря вы вернулись... Вы её не удержите. Папа говорит, её никому не удержат... Она с директором санатория в кофейню ушла.

— Не говори ей, что я возвращался.

Я вышел из номера. Сердце бешено колотилось, отдавалось в висках, горело от ревности, в ушах шумело от отчаяния. Но я собрал волю в кулак. Хотя бы ненадолго. Нет! Стоп! В кофейню не пойду! Всё! Хватит! Какой дурак! Поверить цыганке! Я рассмеялся ядовитым смехом. И пошёл прочь из этого санатория. Скорее прочь, чтоб никто меня здесь больше не увидел.

С другой стороны, с логической, мне стало даже как-то легче, всё стало понятней и проще. Ну вот, открылись глаза, и никаких обязательств и морёк. Свободен по-прежнему! И счастлив, что имел красивую женщину! Теперь пусть с ней спит... Но я оборвал свои мысли. Стоп! Не надо ныть! Проехали! Правда, “проехать” в этот раз не получалось. Но и опошлять ничего не хотелось. Она просто такая. Открытая, доступная, и Бог ей судья.

На этот раз я поехал на вокзал. В кассе купил билет на ближайший поезд до Ростова-на-Дону, поезд был как раз под парами... Сперва до Ростова, как раз и к сослуживцу Петру Калининскому заеду, залью свою и радость, и печаль с армейским другом. В дорогу я всё же захватил бутылку коньяку. Со мной в купе ехала семья. Отец, мать и дочка. Предложил им выпить за удачно проведённый отдых. Они согласились. Мы вышли, я расслабился, успокоился слегка. Я был счастлив и несчастен одновременно. Я был пьян и трезв одновременно. Я был ещё молод и уже стар одновременно. Потом я забрался на верхнюю полку и спал как убитый до самого Ростова.

Петра Калининна найти оказалось проще простого. Адрес у него остался прежним, так что плутать по городу не пришлось. К тому же он жил недалеко от вокзала, и таксист даже на меня покосился с подозрительной иронией: чего, мол, пешком пару кварталов пройти не можешь... За три минуты мы от вокзала доехали до дома Петра. А в дом заходить не пришлось. Пётр был во дворе, в окружении дожины казаков в форме, штаны с лампасами, некоторые — в защитного цвета комбинезонах. Дородный, головастый, с окладистой чёрной бородой, Пётр выделялся из этой казаковой массы и ростом, и осанистостью. Он что-то говорил окружающим, и все были возбуждены, словно он травил их анекдоты. Увидав меня, Пётр онемел, вытаращил глаза. Потом он всплеснул руками и бросился ко мне навстречу. Мы крепко обнялись. Глаза Петра аж заслезились от радости.

— Валька, чертяка! Да ты ли это? Не сон ли привиделся?.. Я ж про тебя только что вспоминал! Даже казакам рассказывал, как мы с тобой слушали...

— С чего вдруг такое внимание? — рассмеялся я. Что-то в этом скрывалось загадочное: ничего ж так просто не происходит в жизни, и даже воспоминания не бывают случайными, а тут Пётр про меня сотоварищам рассказывал.

Я оглядел окруживших нас мужиков в казачьих мундирах и камуфляжах. Усастые, бородатые, подтянутые, с какими-то наградами на груди, и всё равно немножко как будто ряженые, они у меня покуда полного доверия не вызывали. Не вызывали до одной минуты.

— Мы на Украину едем. Не все. Покуда впятером. Вот ещё двое чеченов сейчас подойдут, и в путь, — сказал мне после знакомства с сотоварищами Пётр и кивнул головой в сторону машины. Поодаль, на обочине улицы, стоял военный тентованный “Урал”. — А вспоминал-то я тебя вот чего... — Тут Пётр перебил себя: — Слышь, Валь, а ты куда собрался-то? В отпуск, что ли?

— В отпуске, Петя, я уж отбывал.

— А дома-то тебя сильно ждут? — заискивающе спросил Пётр.

— Нет, не сильно...

— Так поехали с нами! Помочь, Валя, надо братьям. Их там эти уроды бандеровцы со свету сжить хотят. У западнцев совсем мозги съехали... Ну, разве на Донбассе русские будут говорить по-хохляцки или за ихнего Бандеру тосты поднимать? Они ещё одуматься могут, если им по башке немного настучать, — говорил многословно Пётр, он будто торопился вылить на меня ушат своей информации. — Америкашки воду мутят. А хохлы перед ними выслужиться хотят: мол, мы кацапам покажем... А народ-то, простой народ боится. Вон, в Одессе сожгли заживо полсотни человек, и все заткнулись. Сдалась Одесса.

— Я знаю. Я был там, — сказал я мимоходом. А Пётр тем временем шарил своё:

— Ежели бандеровцы залезут туда, в Донецк, на Луганщину или Харьков подомнут, нам тут тяжко придётся. Нельзя время упустить. Выручай, Валька! На месячок съездим. Повеюем. Сам понимаешь, там позарез артиллеристы нужны. Наводчики, корректировщики... А ты ж профессиональный артиллерист. Отличник боевой подготовки, — он рассмеялся, а глазами сверлил мне глаза — и просил, и настаивал, и внушал... — Поехали, Валя! Денег не обещаем, но тут честь задета... Кормёжка, обмундирование — это как полагается. Да и ребята какие добрые. Казаки!.. У тебя размер какой? У меня новые берцы для тебя есть...

Я смотрел в глаза Петру. Возможно, он дуркует, прикидывается, и вообще не верит, что я могу поехать, ведь так обычно не бывает, с бухты-барахты, но он не прикидывался, он, похоже, искренно верил, что меня ничто не может удержать, кроме разве что какие-то бытовые или семейные обязательства.

Я тихо рассмеялся, хлопнул Петра по плечу.

— Ты чего? — удивился он.

— Всё мне, Петь, казалось, что где-то ждёт меня моя судьба. Как бы сказать... Не просто судьба, а на самом деле какой-то важный выбор. Всё казалось, что это женщина будет. Появится — и вся моя жизнь как-то иначе пойдёт... Я ведь ещё несколько дней назад так и думал. А теперь понимаю, что нет. Не женщина это... А это ты, Петя! Ты меня тут и подловил, дождался. — Мне сделалось даже весело — и от своих мыслей, и от той ситуации, в которой я оказался. — Виляла, Петя, виляла моя дорожка среди женщин, а выскочила на мужика с бородой... — Я рассмеялся. Пётр стоял в недоумённом ожидании, видать, пока не понимал, куда я гну.

Почему-то сейчас, именно сейчас, в это мгновение мне вспомнилась история про мужа Лили, которого я не знал лично, но знал, что он ликвидатор-чернобылец, который сам напросился на опасную работу. Не настолько же он был тогда молод, слеп и глуп, чтобы не понимать, куда едет? Ради чего же он рисковал своей жизнью и, возможно, жизнью потомства, ведь наверняка думал о будущей жене, о счастливых семейных днях, о детях, а шёл ворошить радиоактивный пепел на проклятой АЭС.

— У меня ведь, Петя, дед из казачьего племени. И родом он с Украины... — сказал я.

— Ну, вот и здорово! — подхватил Пётр; у него был такой вид, словно он поймал в пруду на крючок большую рыбину, но из пруда её пока не вытаскивал. — Если дома не очень-то ждут, так поехали!

Почему Пётр надавил “на дом”? Выходит, это было для казаков основным препятствием для поездки на Украину? И тут я поймал себя на мысли, что меня в родном Гурьянке никто не ждёт. Фактически никто не ждёт. Если я потеряю свой бизнес, его с радостью подхватят партнёры и конкуренты. Жены нет. Сын Толик — не глупый и сам выпутается. А дочка Рита давно самостоятельна и, можно сказать, пристроена к жениху-режиссёру. Я мельком, с наскока припомнил своих последних гурьяновских женщин, но ни на ком не смог остановиться (пока ещё самой близкой, избранной и *не пережитой* оставалась Лиля). Все пашни с женщинами, их капризы, сцены ревности, собственные измены и та же ревность показали какой-то непростительной глупостью — ради этого никогда и переживать-то не стоит. Всё это вздор!

Вздором казалась и вечная погоня, рвачка за чем-то, за кем-то. Вскользь припомнилось, как переживал из-за денег, из-за неразделённой любви, из-за не сданных вовремя экзаменов в институте, из-за не введённых по договорам стройобъектов, из-за неувязок с богачами-заказчиками, для которых строил особняки; эти жирные коты ещё смели повышать на меня голос, тявкать, а мне порой приходилось извиняться за то, что какому-нибудь чиновному жулику, прындре-депутату вовремя не выложили итальянской плиткой туалет... Даже стало дурно от этих воспоминаний. И стыдно за пережитое.

Тут я вспомнил мать и отца. Они будто бы молча смотрели на меня с надгробных фотографий. Без слов говорили: ты уже совсем-совсем взрослый, сам выбирай себе судьбу... Потом ещё жена Анна вспыхнула в сознании. Но она была уже не жена и не могла меня ни остановить, ни благословить.

Пётр Калинин, сдержанно улыбаясь, терпеливо ждал. И вдруг он испуганно pokrивился, настрополился весь. В моём кармане, в пиджаке, под курткой глухо заширикал телефон. Должно быть, Пётр услышал в нём угрозу: звонок словно бы мог всё сорвать. Я суматошливо полез в карман, надеясь, что это звонок от Лили. Я любил её, несмотря ни на что... Позови она меня сейчас к себе, я бросился бы к ней! Я всем своим существом хотел, жаждал увидеть на экране телефона имя Лилия. Но на экране высветилось совсем другое. Там было имя “Полина”. Откуда она? Что ей от меня нужно?

— Валентин, ты куда пропал? — говорила она нежно, ласково; наверняка с расчётом помириться.

— Я в отпуске...

— А когда приедешь?

— Пока не знаю.

— Я в прошлый раз погорячилась. Извини.

— Ничего, бывает.

— Ты, как приедешь, заходи...

— Зайду.

— Ну, пока. Я буду ждать.

— Пока.

Я спрятал телефон в карман, посмотрел на Петра. Лицо его мне показалось очень родным.

— Ну, что, Валя, поехали? — он произнёс это особым тоном. Я догадался, что он спрашивает в последний раз. Да и окружающие его уже ждали.

— Поехали, — негромко ответил я и подал ему свою руку. — Конечно, поехали!

В этот миг будто бы что-то взорвалось, грохнуло. Я даже глаза прищурил, словно вокруг всё окрасилось ярким алым цветом от неимоверного взрыва, в ушах стоял стон канонады, на зубах заскрипела песчаная пыль, которая ополаскивала лицо на учениях в армии. И опять одним кадром, одним махом пронеслась пред глазами вся моя жизнь.

“Поехали!”

По дороге, сидя в кузове “Урала”, я всё поглядывал в маленькое застеклённое оконце в тенте. Нет, не потому что впервые видел Ростов. Я хотел увидеть магазин “Канцтовары” или что-то в этом роде.

— Стой! — выкрикнул я, когда прочитал название “Товары для школьников”.

— Ты чего? — испуганно векинул брови Пётр, сидевший рядом.

— В магазин схожу. Надо купить альбом для рисования.

Казак, что сидел рядом, недоумённо заулыбался, а Пётр понятиливо кивнул. Он знал, что я и в армии занимался “порисושками” — так я называл свои рисунки, сделанные на бумаге или картоне чёрной гелевой ручкой.

Когда я возвращался из магазина к машине, почему-то думал о Полине. Интересно, смогу ли я по памяти её нарисовать. Пожалуй, это и будет моим первым рисунком в альбоме. Ведь она позвонила мне перед самым отъездом.

Я забрался в кузов, Пётр добродушно сказал:

— Мы тут тебе позывной придумали. Без позывного нельзя. Конспирация такая... Не кличка, заметь, а позывной, по фамилиям и именам не надо.

— Какой?

— Пикассо! И художник, и звучно, и непонятно как-то. Вроде итальянец.

— Пикассо французом был.

— Не всё ли равно! — усмехнулся Пётр. — Ну, согласен?

— Как скажешь, начальник.

Альбом был такой хороший, такой манящий! Бумага плотная, чуть-чуть шероховатая, на такую чёрный гель кладётся красиво, чётко. Я радовался приобретению, как в детстве.